

Борис Тучин

ПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕЛОМ

Роман

Памяти Розы

Пролог. Раскаянье романиста

- И комар жить хочет, - сказала Ираида, потряхнув худыми кудряшками, а я вознамерился записать её слова позже, при нормальном свете, где-нибудь в помещении, не закопчённом и не пропахшем горелым керосином, как тогда у неё в квартире. Да не успел, а потом забыл в недосуге, случившемся из-за неё же.

И вспомнил только сейчас, в незапамятном будущем (2000), шныряя над клавиатурой компьютера ради главы из романа как раз о ней, Ираиде. Сидел неотрывно, и в какой-то момент увидел вдруг, как оглушающе жужжащее насекомое коленчато-изогнутыми долговязыми ногами помогло длиннющему клювику пробить дыру в марле – той, что закрепил я давеча кнопками на открытой фортке. И закружилось вредное существо, и заметалось, да всё жужжало, всё нагло жужукало – ну, ему и досталось.

Я свернул газету в толстую трубку, стал выжидать удобный момент, и, конечно, терпения у меня хватило. Да и он тоже хорош был – мини-вампира, после трудной зимы слабый, ещё не отъевшийся на донорской человеческой крови, неувёртливый.

Хорошо, а что было делать? Я же не брахман, в конце концов, дабы в каждой самодвижущейся живности усматривать очередного кармического путника во времени.

- А почему, Рина, ухайдакать муху сложнее, чем комара? Она больше жить хочет? Крёмень говорит: пустяками, Лёвка, занимаешься, думай о чем-нибудь посерьёзней. Об инфекционных болезнях.

- Юра, когда лежмя лежал на койке в тубсанатории, то от безделья часто мух отлавливал. А к тебе, раз мысли приходят, то не зря – любые мысли. Ты не верь никому. Стой на своём. У него об одном мысли, у тебя о другом. Из пустяков родятся открытия, ты разве не знаешь?

...И горе мне.

Вечная моя Ираида истаяла в океане эпох, в мирах неведомых, и никто никогда не помянет её тихим ностальгическим словом, кроме разве что меня, романиста, фанатика. Потому что ни от кого, и даже от самого Савелья Саньча, я потом не дознался правды: где и когда, и при каких обстоятельствах её драгоценные земные дни закончились. И кто упокоил её, хотя и безгрешную, но в чём-то не до конца для меня открытую душу...

И ты, Ираида, милая, – если из каких-то непостижимых земному разуму глубин с высотами будешь в состоянии воспринять моё раскаянье за многое, мной содеянное (и не только за комара, убиенного без вины, но из-за того лишь, что жить хотел), - поверь в мою искренность, да и прости меня, грешного.

Насчёт безвестной утраты всех остальных тоскую не меньше, но как-то иначе. И кто бы меня просветил, почему. Единственный, кого я после всех событий застал в живых, пусть и не в лучшей форме, – Савелий Саньч. Но, в силу почти уже неземных для него обстоятельств, не смог он сопроводить меня на голое после пожара место по адресу Загорная улица, дом 32, квартира 4. И Ниночка, дочь его, тоже не проводила туда. Да и зачем бы ей-то боль беречь?..

Равнинка поросла лопухами, огромными настолько, что не вмещались в пространстве, теснили один другого, и один на другой налегали. Специалисты рассказывают, будто зола от сгоревших

брёвен - лучшее удобрение для чертополоха. Специалистам нельзя не верить. И я, оплакав посреди одиночества всё прошедшее, снова двинулся к поискам себя в себе.

Да, по правде сказать, кто такой был Савелий Саныч? Человек, случившийся ради нас в каком-то сравнительно небольшом происшествии, не больше того. Но ведь слезу я и о нём пролил.

А по сюжету о сокращении мною фамилии Каменского для обиходных целей – каяться не в чем, и я не стану. Скорее похвастаюсь, ибо, считаю, установил истину я, а не кто-то другой. Остальные языкотворцы, включая и школьных златоустов с последней парты в бывшем его классе, и умудрённых грамотеев из 43-й комнаты в *обжитке* медиков на Тверской улице, отступали перед необходимостью соблюдать грамматическое соответствие. И трудностей избегали: в школе он отзывался на кличку «Камя», в 43-й предпочитали простое и вполне интеллигентное имя «Юрка». Хотя мне-то настаивать особенно не приходилось. Приняли безотказно: ну, был Каменский, стал Кремень. Камень – Кремень. Казалось бы, и делов-то чуть.

Тяжбы недолго длились, а велись всего-то об одном ударе в одном слове.

Ты, Ираида, помнишь ли?

В словарях, сама же, Риночка, вычитала: ударение предписывают ставить на втором слоге. Правильно говорить «Кре^{ме}нь», мы же у себя в 43-й говорили «Кре^{ме}нь». Потому что никто не владел корректурой, как ты ей владела. И даже полиглот Москвичёв. А ты, Рина, только однажды подсказала, но тоже ни на чём не настаивала.

Говорили, как говорилось. Но знали: только не *Камень*! Ну какой же он *Камень*! Ни секунды в нём ничего застывшего... Каменность не приживалась к Юрию.

Сидел, помнится, у тебя на Загорной. И никого больше не было: ни Тимки, ни Деда-папки, ни Марьяши. Бабушка, как всегда, у себя в комнатухе дремала. Вот я и отпустил тормоза. Отец мой недавно умер, последние дни были тяжелые. Я хоть сумел к нему выбраться, побыть до конца, но должного тепла вернуть не получилось – с моей стороны, конечно. Вроде бы из-за его второй женитьбы, хотя женщина явно ни в чем не провинилась – ухаживала за ним до последнего. И глаза ему закрыла – по праву. А я, окончательно осиротевший, вернулся в вуз. В 43-й (в *обжитке*) уже никого не оставалось, 43-я, неожиданно, но закономерно, вся рассосалась, заместила вакуум чужими людьми.

Вот я уронил голову, согнулся и без стеснения вдавливал скулами и лбом руки в колени. И выл, выл, как проклятый.

Ираида на мои сетования отозвалась коротко, по существу:

- А ты потерпи, не сломайся. Будь сильным. Можешь поплакать, слёзы пролить никогда не бойся. Поплачь. Я, Лёвочка, никому не скажу, что ты плачешь.

Я и не боялся показаться на людях неудержимо горюющим. Просто слёзы у меня в том возрасте были куда-то очень глубоко запрятаны. Способность находить успокоение в слезах к моим умениям в ту пору не принадлежала.

Позже появилось и это. Сама жизнь приучила, конечно.

Понадобились к тому годы и годы. И тысячу раз вспоминаю тебя, Ираида.

Роман мой не был ещё написан. Предстояло его ещё прожить. Но, как я теперь понимаю, роман подразумевался. В воображении.

И вот так оно всё и вышло: ты и есть, Ираида, никем не повторённый добрый знак моего прошлого.

Книга первая. Птенцы Парацельса

Глава первая. Загорная и Лёвик. 1952 -1958

Антверпенский порт

Бельгийская картина «Чайки умирают в гавани» шла в кинотеатре имени Горького день или два, не дольше. Затем её сняли с показа, и больше, насколько знаю, этот фильм демонстрации не удостоился. Мне повезло случайно оказаться в районе кинотеатра имени Горького одному, в ничем не занятый вечер. Произведением зарубежного кинематографа нас особенно никто не баловал, и вот он открылся потрясённому зрителю. Мной двигало вполне определённое предположение: надо успеть насмотреться, а то вдруг лафа исчезнет, причём так же легко и неожиданно, как появилась.

От безделья и от подспудного желанья расширить свой кругозор в отношении современного кинематографа я без раздумий взял билет и сел смотреть.

Картина была странная, ни на что не похожая, тем более для зрителя, воспитанного на «Волге-Волге», «Весёлых ребятах» и «Чапаеве», чуть позже отодвинутых «Кубанскими казаками», эпохальными, но всё из того же приземлённого соцреалистического ряда.

А тут – мало того, что мятущиеся, неприкаянные люди в окружении главного героя. Он сбежал из концлагеря и пытается скрыться от неминуемого преследования, общается с женщинами, разделяющими его страх, страдающими, а над непомерно малыми человеческими фигурками смертельно нависают исполинские портовые конструкции, вот-вот ударят по голове, сомнут, раздавят... Персоны-то каковы: бродяга поневоле и проститутка, идеологически далёкие от нас, но вроде бы существующие.

Всё зрелище предстаёт в контрасте, в мрачной чёрно-белой гамме, не в красках, без остановки звучит музыка, похожая на гомон чаек и всплески волн, и то стихает, то вдруг как грохнет, завизжит, да прорококочет разными голосами, вгоняя в душу сумятицу и ужас.

Гавань эта была Антверпенским портом, занятым немцами, и вот там действительно скоро не останется ни единой прибрежной птицы, хотя вообще-то известно: они бессмертны. Но картина убеждает: погибнут люди – умрут и птицы. Или наоборот: сначала птицы, а потом и люди. А, может, одновременно? Фильм не берётся предсказывать. Человек ищет спасенья – оно не брезжит.

Таковы ощущения. И вот новый ошеломляющий кадр: огромные полицейские ноги заполняют экран. И нет сомнений: сейчас они спустятся в зал, прямо к экрану, и ты вжимаешься в сиденье и знаешь, что всё вроде бы понарошку, кино ведь, а чувствуешь: идут затоптать тебя самого. Тяжкий сапог поднимется и так припечатает, что не охнешь, не поднимешься больше.

Зал между тем заустевал. Зрители вставали и, пригибаясь, осторожно двигались к выходу. Я тоже мог бы покинуть кинотеатр: и дела нашлись бы, более важные, чем ночью терять время на непонятной картине, а кого-то отсюда могла прогнать элементарная скука.

И Кремня искать надо. Если спрятался, то куда? Считает, ему в *обжитии* сейчас быть рискованно. Но Кремнь человек взрослый. И чем бы я помог, если что?

Мне удалось выдержать всё. Выйдя, я тотчас же взял билет на следующий сеанс, чтобы разглядеть подробности. Смутная догадка меня посетила. Можно сказать, по горячим следам: завтра, максимум послезавтра наваждение может кончиться, отнимут вместе с картиной. Скажут: зачем тебе, глупый? Травить себя попусту...

Не лучше ли повторно посмотреть новинку, скажем, фильм «Разные судьбы»? Тоже драма, кино цветное, артисты красивые, и люди порядочные, и переживания, как бы из жизни взятые, полный реализм, и Дима Вологдин хвалит: сюжет будто о нём, юная особа и мужчина вдвое старше её, оттого и разность в судьбах.

Вологдин напевает: *«Мне жаль ту весну мою, что прошла неповторимою без тебя»*. И для товарищей Дмитрия Алексеевича не секрет, кого именно он имеет в виду.

Кассирша за окошком улыбнулась:

- Так понравилось, что хотите повторить?

Расплывчатое лицо в слабом электрическом свете. Она сама будто сошла с экрана.

- А вы почему спрашиваете?

Большая часть публики в её кинотеатре – студенты. Люди не гордые. Поэтому кассирша перешла *на ты*, как всегда разговаривают с нами любые продавщицы. И мне проще.

- Никому не понравилось. Все уходят. А ты повторяешь. Или кому другому билет берёшь?

- Себе.

Над гаванью (где умирали чайки) высились огромные краны. Погоня временно приотсталала, но страшные крюки портовых сооружений всё равно нависали над головой.

В третий раз, на самый последний, самый ночной сеанс идти было уже слишком, но и тащиться в *обжитие* на Твери, где не уснёшь так или иначе, и где слушать мои впечатления охотники вряд ли найдутся, не было ни малейшего желанья. Ближе всего располагалась библиотека. И проживавший там хороший мой знакомец старик Вениамин Авксентиевич, полагал я, не прогнал бы, выслушал и на мои восторги отозвался и сказал бы что-нибудь важное.

Порыв был туда – в книжное царство! Там ничем не омрачена свобода выбора. И там существовал проводник, который мог натолкнуть мой интерес на что-то новое. Подойдя к массивной двери, я машинально дёрнул за тяжёлое железное кольцо. Закрыто. Нажал на звонок, громко постучал. Хотел услышать спускающиеся со второго этажа шаркающие шаги Вениамина Авксентиевича. Безрезультатно. И сторожиха не отзывалась. А то обругала бы, что ночью шаршишься. Но к старику, возможно,пустила бы.

Окна, все, как одно, были темны. Уснул он, наверное? Тоже ведь устаёт.

Не захворал бы старик... Я знал, что это опасение меня не покинет, и назавтра я постараюсь узнать правду.

Я почти машинально двинулся через мост, далее по Обрубку, по деревянным, обструганным до матовой желтизны, свежевывстеленным и ещё нерастоптаным, прочным тротуарам Обрубка и улицы Загорной.

Новшество с тротуарами неспроста появилось.

В городе ожидался деловой визит видного товарища не то из политбюро, не то из совета министров – для нас это, в сущности, одно и то же. Одним словом, откуда-то сверху. То ли Крутихин, то ли Угаров. Эту парочку при *дебатах* в 43-й комнате в *обжитке* на Твери всегда путали. Хотя кому бы и зачем, и с какой такой особой радости понадобилось искать различия – тоже вопрос. Приехал или нет Крутихин-Угаров (Угаров-Крутихин?), неизвестно. И станет ли разглядывать городские подробности, никто не знает. Пешком же эти люди ходить не могут. Но тротуары обновлены, что мне приятно, – хоть в темноте о вылезший гвоздь не запнёшься, не свалишься, и, проломив гнилую доску, не свалишься.

Со всех сторон прямо на меня летели метеориты. Огненными кнутами хлестали небо.

Дом на Загорной

В жизни меня ждало продолжение всего только что пережитого в кинотеатре.

Загорная моя не светилась. Оба этажа 32-го дома были темны. Это понятно: ночь. Но, помимо того, у *моих* занавешено почти всегда, свет не пробивается сквозь шторы, не знаешь, есть дома кто или нет. А мне и не надо, мой этаж первый. Но чтобы у Тимофея никого не оказалось – граница невозможного, дом всегда обитаем. Больная бабушка, и при ней Ираида. Если нет никого другого, обе должны быть на месте.

Но бабушка не в счёт.

Честно признаюсь, действовал совершенно эгоистически. По молодости лет в сознание моё не проникало, что в то время, как я бодрствую, другой человек может отдыхать, спать, просто не быть расположенным к приёму припозднившегося и ошалелого гостя.

Только с Ираидой я мог поделиться своими переживаниями, только с ней отвести душу.

Я стал долбить по раме, сперва осторожно, условленным стуком. Никто не появлялся. Я застучал настойчивей, громче. Не откликались. Убеждал себя к продолжению. Ираида вряд ли могла улечься спать: казалось, что для неё ещё рано. Часто по ночам дочитывает корректуры. Остальные *загорцы* скорее всего в бегах, кто где.

Так я пробивался в дом довольно долго. И, наконец, был вознаграждён: край шторы приподнялся, знакомое Ираидино лицо прижалось к стеклу. Свет изнутри сквозил совсем чуточный. Жгла, значит, керосиновую семилинейку-пузатку.

Возможно, перегорели пробки, и она ждёт кого-то из мужиков, чтобы починили. Или авария общая по улице, что у нас в городе бывает нередко.

Штора опустилась. Подхожу к двери, голос:

- Ты, Лёвик?

Она всегда меня так зовёт.

- Я, да. Открывай давай, Рина!

Засов со скрежетом отодвинулся.

- Здравствуй, Рина. У кого же, кроме Лёвика, наберётся столько терпения, чтобы пробиваться в дом, когда не пускают? И столько нахальства. Не разбудил?

- Проходи, Лёвик! Быстрее только. И не базарь попусту.

Я прошмыгнул, и засов тотчас вернулся на место.

- Извини за наглость – среди ночи... А куда торопимся закрываться? Протопила, боишься замёрзнуть?

- Замёрзнуть не фокус, - подтвердила. - Не зной на дворе. Иди уже в дом.

В коридоре сразу шибануло в нос керосиновым чадом. Тут не одна *пузатка* виновата, конечно. Ещё и керогаз.

Иду почти на ощупь.

Серафим

В комнате за столом, в мерцании коптящей семилинейки, тёмная фигура не отчётливых очертаний. Мужчина. Дремлет. Возраст не разобрать.

Рина подвернула фитиль, стало чуть-чуть светлее.

Обычный антураж: сковорода с ложкой, недоеденная лапша, тарелки, вилки, всего по паре, а также стаканы, пузырьёк с остатками зелья, чайник на подставке, семейная реликвия – фарфоровый заварник для чая. С журавлями на стенках.

- А что со светом, Рина? Пробки? Чинить некому?

- Да нет. Ты же знаешь: пробки на обе квартиры у соседей сверху. А их, как всегда, нет дома. Считанные дни в году они на месте.

Гость скособочился, клюёт носом. Похоже, уже набрался.

Стол осеняет бородатый лик Льва Толстого. Портрет уникальный: огромная литография полностью составлена из напечатанных письменным курсивом строчек то ли восьмой, то ли девятой главы «Крейцеровой сонаты». Картина большая, в тяжелой старинной раме. Наверное, мало у кого подобная редкость ещё сохранилась. А больше-то в этом доме и ничего особенно ценного нет. Чайник-заварник, хрустальные стаканчики под водку, да на стене вот этот Лев Толстой. Грабителей в гости не ждём, брать особенно нечего. Рояль никакой воруяга утаскивать не возьмётся. И деньги в доме ничуть не задерживаются. Так что преступникам ловить нечего.

Бабушка у себя в комнатухе мирно спит.

- Привет, - говорю, обращаясь к тёмной фигуре.

Чего-то проворчал в ответ. Просоночно, неразборчиво.

И вновь закемарил.

Вот тебе и Ринуся. Прячет любовника, что ли? Тогда моя настырность весьма некстати. Надо извиняться и уматывать на большой скорости.

Но, похоже, мужик для неё всё-таки сильно молодой. Вообще в подобном (чтобы любовники) не замечена. Ей же где-то к пятидесяти. То ли сорок восемь, то ли и вовсе пятьдесят четыре. Старенькая, сама признаёт, мол, крашенный перманент поредел, и ещё редееет.

А я вот беспардонно вторгаюсь. Стуком среди ночи всю улицу поднял, наверное. Пора бы уже, имея в активе сколько-то курсов мединститута, догадываться, что люди отчего-то хотят жить по своим правилам и, временами, без твоего присутствия.

Я стал догадываться: своего гостя Рина от кого-то и по важной причине прячет. Оттого и так долго не открывала. Не хотела впускать. Думала, что рассосётся. Другой на моём месте мог и отстать, обратиться отсюда.

В комнате воздух тяжёлый. Пахнет не только от керосинок, скорее горелой одеждой, нездешней копотью. От гостя.

Хотя шея у гостя обёрнута Тимкиным шарфом, трёхцветным, за что я зову этот предмет одежды «французом». Ватник на нём – не Тимкин и не дедов, конечно. Отзываю Рину:

- Кто такой? Откуда родом?

- Много будешь знать – помрёшь раньше, чем ожидаешь.

На столе, разглядел я, валяется серая тряпочная шапка-ушанка. А он совсем на кулаки упал физиономией, сопит, похрипывает. Так что говорить можно и не вполголоса.

Ну, не с таким же ей уединяться. Я себе эти дела, если они случаются, представляю иначе.

Впрочем, я ещё о жизни знаю далеко не всё.

Далеко, далеко не всё знаю о жизни...

Если старые связи, тогда что? Мне, опять же, уматывать?

- Голодный? – спрашивает она.

- Не сильно.

- А то рожки с консервами. Хочешь, подогрею? Ты же любишь...

- Да нет. Не надо.

- Тогда чай?

- Это давай.

- Чай-брандахлыст.

- Слово новое. Что бы такое значило?

- А вот попробуй.

Придвигает вазочку с наколотым рафинадом. Наливает заварку, потом кипяток. И из пузыря плеснула мне туда же, а из большого гранёного стакана мой, разбавленный чем-то неясным чай, бережно перелила в другой, поменьше. Маленькие такие у них стакашки, с хорошую рюмку размером.

Жидкость мутноватая, сейчас, в сумраке чадном едва ли не чёрная.

Попробовал. Противно.

- Сивухой гостей привечаешь, Ринок? Не пьётся. Куда вылить-то?

- Чай-брандахлыст. Выпьешь – козлёночком станешь. Дед где-то раздобыл.

- Не хочу козлёночком, Рин...

Не стал угощаться сивухой.

- Ты ведь не зря появился, Лёвик? Вываливай.

- Рина, страшное кино посмотрел. Хочу поделиться. Ты поймёшь.

- Поехали.

- Человек бежал из концлагеря, ужас нагнетается: музыка, мрачные городские пейзажи, порт...

- «Чайки умирают в гавани». Вчера смотрела.

- И как тебе это?

- В моей жизни своих чаек хватает. А так – и комар жить хочет... И бабочка.

Она меня пальцем поманила. В коридоре свечу зажгла. Посмотрела на потолок, палец у губ подержала. Перешла на шёпот:

- За столом Симка. Он с приключениями. Убежал без разрешения с режимного объекта, так это называется, - сбивчиво объясняла. - Серафим, наша дальняя родня. Тимке троюродный брат. Из тайги ушёл...

- Таёжный граф Монте-Кристо, окружённый тайной? Скрытое богатство в пещере, так?

- О том, какой он граф, у него на лбу написано. Читай, не ошибёшься. Геологическая партия развалилась. Секретная. И он не уцелел. Потому, как спрятаться было негде. Что с другими, которые удержались, не знает. Может, под шумок перестреляли всех. И дело с концом...

- Побег?

- Побег, не побег – как повернётся. Сейчас многое возможно. Время-то вон какое... *Полярный перелом* жизни.

- *Полярный перелом?*

- Ну да. Всё меняется. Главного начальника отвергли, оплевали и обругали – куда больше...

- Имеешь в виду съезд партии?

- Его, конечно, кого ещё?

- И что теперь будет?

- Да кто бы сказал? И ты не скажешь, и я промолчу. Может быть, наверху смягчатся, и грехи кому-то отпустят. Но пока они соберутся, мы тут горя нахлебаемся полной ложкой.

- Гость – он что, земляк твой?

- Сродство отдалённое... Последнее местожителство Симкино перед посадкой Москва-город, рай земной. Там и взяли. Когда-то. Вскорости после фронта. Отвоевал, попал в плен, бежал.

- Да ты не торопись рассказывать...

- Вернулся, работать из-за плена нигде не берут. А есть надо. Ну, чего-то сотворил нехорошее. Стащил какую-то фиговину. И загремел. Второй плен – у нас, в Союзе. В тюрьму-то запросто: мешок открытый, втолкали, спеленали, завязку на горлышко – и готов! Освободился, тут геологи по соседству с лагерем, из работяг сразу двоих медведь задрал, замены нет, по меньшей мере, одно место вакантное. Ну, Симку приняли, гоняли по всяким второстепенным работам. Взяли подписку о неразглашении. Искали в земле что-то шибко секретное. Тут пожар в тайге. Отчего загорелось, не ясно, только некоторые, как и он, воспользовались неразберихой и, возможно, растеклись по разным местам. Нарушили договорá. Какие будут последствия, можно только догадываться. Поймают – по головке не погладят.

Сравнение насчёт мешка мне понравилось.

- Как в колхозе. Куль берёшь, завязываешь горловину, проверишь, чтобы узел был крепкий, а то развяжется, зерно рассыплешь... И р-раз – на спину, и пошёл, и понёс. Вместо зерна – человек, и нет разницы?

- Он же не сам пошёл... В мешок, Лёвик, люди сами только по дурости и лезут. А Симка – нуждой затолканный.

Вздыхнула, умолкла, плакать собралась, наверное.

- И потом?

- Долго рассказывать. Сюда прибежал, потому что ближе. В Москву как ещё добираться...

- У вас останется?

- Не знаю. Там посмотрим. Перво-наперво его отмыть надо. В баню вести нельзя, там людно, по наколкам кто-нибудь узнает, беды не оберёшься... Скорее всего, на нём вши окажутся. Пускай не вши – гниды, тоже мало хорошего.

- Есть такое место, помимо бани, где можно и вымыться, как следует, и, если требуется, то от вшей избавиться. Называется Санпропускник, недалеко отсюда. Поздний час, посетителей наверняка нет.

- Знаю про этот Пропускник. Я думала, его давно закрыли. Через него в войну пропускали больше всего эвакуированных.

- Работает на полную катушку. Штука для студентов самая удобная. Мы осенью, после колхоза, – не заходя в общагу, – сразу туда. Подозрительную по насекомым одежду можно отдать на прожарку, потом она получается иногда не совсем целая, стоит коробом. Но если малость починить и подгладить, то носить можно.

- Ну да, подгладить, как уладить. Только наши все в бегах. Кто поведёт-то?

- Так я же и поведу.

Санпропускник

Со мной в Пропускнике был человек худобы необычайной. Ничего подобного я прежде не видел, даже среди истощённых больных, которых мы курировали на практике в клиниках. Разве что в кинохронике про гитлеровские концлагеря показывали такие ужасы. Будто его недавно чудом оживили, и он встал с прозекторского стола в анатомическом корпусе.

Пропускник же сам по себе навевал тревожные ассоциации: война, массовые дезинфекции, те же чайки в кино, будь они неладны. Хотя этот суррогатный заменитель бани был заведением доступным и гостеприимным, поскольку почти бесплатно и без перерывов данная банька могла принять остро нуждающихся в её услугах в течение суток и – в любое время года.

И вот как надо себя вести, туда попадая. В предбаннике полностью раздеваешься на скамье. Одежду в широкое окно сдаёшь пожилой банщице. Она в белом халате. И требует:

- Из карманов всё вынимай и бери с собой.
- Оставить нельзя?
- Было бы можно – не говорила.
- Хорошо, а как я понесу?
- А как хотишь, так и понесёшь. Знаешь, куда пришёл. Не маленький!.. Бери номерок.

Спрашиваю Серафима:

- Что у тебя с собой?

А что уходящих сюда на помывку может быть с собой? Примерно у всех одно и то же: немного рублей с копейками на неотложные нужды, часы, носовой платок, ножик перочинный, у кого имеется. Документы – паспорт, комсомольский билет, зачётка.

Так ведь не каждый, кто собирается мыться, даже и столь скудный набор при себе таскает.

Серафим умело выворачивает карманы. Пусто.

В Пропускнике за копейки та же тётка выдаёт стандартный индивидуальный набор, включающий в себя миниатюрную, не пользованную (хочется верить) вехотку, квадратик изжелта-коричневого хозяйственного мыла и стираный-перестиранный, только что не дырявый, квадратный же *полотенчик* из серой холстинки.

И весь разговор.

Так что на первый случай сгребает имущество в охапку, и где-нибудь в сухом углу зала на полу пристраивает. Перед повторным посещением уже соображаешь, что желательно иметь портфель, который та же приёмщица забирает под номерок.

Я от здешних ограничений не страдаю. Сказать, почему? Потому, что свои манатки неразлучно ношу в дипломате. Это подарок Германа Добросклонова, друга из редакции. Дефицит, малость изношенный, но это никого не смущает. А Герман себе по благу раздобыл дипломат совершенно новый и с прибабасами типа пряжек, застёжек, монограммы «Г.Д.» и прочего антуража. Старый дипломат девать некуда, не выбрасывать же, а мне сгодился.

Со мной везде и всегда находятся умывальные принадлежности с бритвенным прибором, а также стопка чистой бумаги, взятой из большой пачки. Бумагу по самой первой просьбе щедро дают в редакции, что придаёт мне уверенности в занятиях журнализмом – газетчик, значит, свой брат. По необходимости же в дипломате – учебники, тетради с конспектами лекций, на случай на ходу обогатиться новыми подробностями изучаемого предмета – медицины. Естественно, и свежие газеты, купленные у Арона в киоске Союзпечати, что возле главпочтамта. Через дорогу редакция, но туда свежие новости приходят позднее, вместе с остальной почтой, иной раз к вечеру, а то и на завтра – как утерпеть?

Тихомиров однажды заметил:

- Так мы же сами делаем новости. Нам чужого не нужно, не берём-с чужое.

Он вот не берёт.

И пусть. Он штатный замредактора, а я студент, мне надо с утра, *сегодня* с утра надо.

Среди необходимых вещей в дипломате зубная щётка и порошок, и, конечно, записная книжка и вечное перо, то есть авторучка с резиновой пипеткой, заправленная синим чернилом. Документы

хранятся в кармашке дипломата. За них в Пропускнике немного опасаясь, но сдаю вместе со всем остальным барахлом. По крайней мере, нет риска, что могут промокнуть.

Причина предусмотрительности в том, что, уходя утром из 43-й комнаты на Твери, не знаю, где, как выражается мой друг Оптимист Саянский, *брошу кости* вечером на ночёвку.

Симкины татуировки не кровожадны: на тыльной стороне правой кисти половина диска с лучами и надпись «Сибирь», на стопах, опять же с тылу, слева «они», справа «устали», на спине, под правой лопаткой голова Сталина в профиль, вождь курит трубку, дым вылетает круглыми кольцами.

В клинике у некоторых больных такие, в сущности банальные, наколки случалось видеть. Приложишь к рёбрам стетоскоп – и будто самого Сталина слышишь.

Ираида лучше меня знает, почему боится за Симку.

Чистилище с бетонным полом

Антураж зала в санпропускнике – зарешеченные фонари под высоченным потолком, бетонные, негладкие пол и стены. Для помывки приспособлены открытые кабинки, а в них вмонтированные в стену одинаковые душевые рожки на кронштейнах, каждый в виде лежачей буквы «г». Становишься под рожок, открываешь краны, можешь регулировать температуру: вода холодная, вода горячая, вода смешанная, тёплая. Время мытья не ограничено, хоть замойся. Ну, так вроде на первый взгляд представляется. Потому что, положим, случаются и толпы здесь, и в очереди настоишься. Правда, не часто: в периоды массовых заездов накануне учебного года, да ещё и поздней осенью, по возвращении из колхозов, когда суденты, все пропотевшие и грязные, массивованно штурмуют чистилище.

В бетонном помещении прохладно, если не сказать холодно, хоть зимой, хоть летом. Так что, бывало, ополоснёшься сколько-то, помажешься хозяйственным, скользким квадратиком, потрёшься докрасна вехоткой, опять намылишься, снова оботрёшься, сколько надо постоишь под открытым рожком, и – скорей к полотенчику! Иной раз потерпишь, если перебой с горячей водичкой, что случается нередко. Либо горячая течёт, холодной нет. И сколько времени могут продлиться неприятные интервалы, никто не оповещает. Ничего, не сахарный, не растаешь.

И – наружу.

При нашей помывке, к счастью, от начала до конца воду не отключали, ни ту, ни другую.

Оттирая, отмыливая и ополаскивая Серафима, спрашиваю:

- Видел я худых людей, но чтобы так рёбра торчали... Тебя мама в детстве голодом держала, что ли?

- Не смейся. Я из тайги когда выбирался, ел ягоду, траву, кору глодал.

- Сколько времени ты там бегал?

- Сейчас у нас какое число?

Я сказал.

- Сегодня после двух недель без еды, пошло на третью, вот, опять поел по-нормальному. У родственницы – ты меня от неё забрал. А до того в лагере баландой питался, тоже не больно разьешься...

- Рёбра у тебя торчат, как на препаратах из анатомки. Можно по тебе зачёт сдавать.

- В другой раз и сдашь. Теперь уводи, умираю, спать хочу.

...Потом Рина при *загорцах* похвалила, дескать, Лёвик её послушался, и повёл Серафима не в Громовскую Баню, а в Пропускник. Потому что мылись там одни, без свидетелей. А старой банщицы чего бояться, мы ей триста лет не нужны.

Куда девать Серафима?

Я сумел проследить, чтобы несчастный погорелец без нескромных соглядатайских взглядов избавился от проникших в него до самых печёнок сажи и дыма. Далее предстояло не

возвращать его, почищенного и с прожаренными обносками на Загорную, к Ираиде, а спрятать. Но где же? Точно не в библиотеке. Потому что там Вениамин Авксентиевич этим ночным часом прикорнул на своём почти кукольном диванчике в закутке, где рядом висится стопка неразобранных газетных подшивок. Старик и сам к себе на ночёвку едва протискивается, а на столах в читальном зале отсыпаться и неловко, и нарываться на сторожуху тоже, пожалуй, будет излишним.

Туда, стало быть, соваться нечего. А что, если к Герману? Он – товарищ по редакции, человек не чужой. Но на столь острую ситуацию по разным причинам тоже никак не годится: живёт в крохотной квартирке с матерью, отчимом и охотничьей собакой отчима. С отчимом ладит плохо, породистую собаку ненавидит, и, по-видимому, собака платит ему взаимностью.

А куда бы ещё деваться? Хотя бы на ночь и на дневное время, пусть отоспится.

Я всё сильнее проникался состраданием к поистощавшему в таёжных скитаньях, едва живому Серафиму. И намеревался обязательно сдать его с рук на руки надёжному человеку. Хотя страхов не испытывал: сейчас не тридцать седьмой год, никого просто так не забирают. Даже Кремень склонен поверить, что сейчас не тридцать седьмой год. Но...

Какие гарантии?

Опасения Ираиды были построены на важном историческом фундаменте и брались в расчёт, но до нутра не пробирали.

Был и ещё и один вариант, где можно укрыть Серафима...

Глава вторая. Человек с Океана

Юность Голиафа

Валериан, знакомясь, называл себя Голиафом или Гогой. Пояснял: псевдоним.

- Чтобы узнать, почему я именую себя Голиафом, нужно долго слушать мои рассказы о наших отношениях со старшим братом Германом. Папа в семье называл его Давыдом. И чего ему в голову взбрело такое разделение, папа объяснять не удосужился. Папа любил брата много сильнее, чем меня. И, как будто шутя над нами, поддразнивал, когда мы начинали бороться, давай, мол, Давыдка, одолей Голиафку, вали его на лопатки!.. Родитель в нашей семье – большой причудник. Поощрял папа со знанием дела: я был здоровее и оставлял брату мало шансов на выигрыш. Но, поступая так, папа тем самым невольно провоцировал между родными братьями распрю на долгие годы. Умнейший человек папа, но такой вот отвратительный педагог...

Спросят, откуда такой взялся. Валериан в карман за словом не лезет:

- Я с Океана.

Так твердо сказано, что дальнейшие расспросы отпадают.

Ещё в старших классах они вместе с Кременем, чтобы прокормиться, разгружали уголь на грузовой станции «Вторая Площадка». После моряцкой службы и океанских рыбфлотовских плаваний он вернулся в родной город, но с родителями жить не стал, а снимал где-то угол. Дружбы с Каменским, который к тому времени уже учился в медвузе, не возобновлял. Хотя именно Юрий меня с ним познакомил.

Голиафа заочно порицали за неучастие в сборищах у таких известных в городе содержателей салонов, каковы, допустим, мои загорцы. А ему там что делать? Голиаф не пил. А если уж очень приставали – мог себе позволить глоток. Понятно так же, что в силу своего индивидуального положения он проявлял непричастность к любой общежитской компанейщине. Жил сам по себе. Имел вполне уважаемую цель в существовании – само существование.

По Гогиной физиономии целых пять лет хлестали океанские ветры – три года срочной службы на военном флоте и, по демобилизации, следующие два сезона в плаваниях ради заработка на торговых судах. Вернулся домой с деньгами, но удариться в разгул не спешил.

От мореходного прошлого сохранилась у Гоги грубой выделки кожа на лице и руках, покрасневших, по-видимому, на веки вечные. Впервые он предстал передо мной посреди зимы и был одет подчёркнуто легко: бескозырка, бушлат, под ним тонкая суконная курточка и, конечно, тельняшка. Высокий, косолапая морская походочка, густой низкий голос и, наконец, речь, отточенная штормами, местами почти афористичная.

Гога выговаривал каждое слово чётко, с ударением. Не избегал повторов, усиливающих смысл произносимых истин. Всё сказанное им запоминалось. А я был юн, считал, что в институте обучаюсь не совсем тому, что хотел бы, тосковал по открытому миру. Внештатные журналистские возможности позволяли часто видеться с Гогой и подолгу находиться в его присутствии. Одним словом, за Гогиной спиной бушевало открытое море.

В бурных приграничных водах – одинокая скала, в любое время года обдуваемая ледяными ветрами, чья сила нередко достигает предельного штормового значения. Ни единого куста, ни травинки. Камень и камень. Собранная со всего клочка суши островная земля возделывалась грядками, ради выращивания зелени – сажали укроп и лук. Пробовали сажать редис, морковь и картофель, не прижилось.

Там жила команда охранителей маяка.

На этом островке Голиаф провёл целых три года.

- Семь человек, живущих вместе так долго, - рассказывал он, - узнают всё друг о друге. Мы были немногословны. В океане привыкаешь к сдержанности... По нашим сигналам корабли находили путь – в иностранные или отечественные воды. К нам судно заходило раз в месяц – привозили продукты, газеты и письма. Пища – консервы, сухие овощи, вяленое мясо, витамины в таблетках, противочинготный раствор... Снабженческий пароход, как я уже сказал, прибывал раз в месяц. Не чаще одного раза. В месяц, да. Один раз.

В остальное время единственной связью с Большой землёй была морзянка. К ней настолько привыкаешь, что слышишь её повсюду. Порой кажется, что даже птицы кричат по азбуке Морзе... Поддерживает то, что знаешь о долге и твоей личной функции: от неутомимости твоего ключа в океанских волнах зависят чьи-то жизни. Чужие жизни зависят.

За плечами у Гоги в чёрных ленточках якорьками трепещут золотистые искры.

Он улыбается и начинает говорить о другом:

- Вдали от людей, – так сказать, от суеты больших городов, – много времени для размышлений... Мы живём в эпоху больших скоростей. Кто не успевает, тот остаётся за бортом. Кто не идёт в ногу со временем, тот погибает. Нельзя отставать от жизни. Жизнь мощными импульсами движется вперёд, и горе тому, кто от неё отстанет. Жизнь не терпит уныния и тоски. Унылые и пассивные погибают. Я не хочу погибать. Я современный человек.

Современный человек, продолжал Гога, чтобы шагать в ногу со своей эпохой, должен кроме основной профессии иметь несколько побочных. Я, например, радиотелеграфист и шофёр второго класса. Второй класс – для начала на гражданке совсем не плохо. Будет и первый.

Затем Гога излагал свой взгляд на женщин:

- Любви, как таковой, нет. Есть более или менее длительная привычка. Для нас же, людей, в какой-то мере знающих жизнь, любви не существует...

- До известной степени знающих жизнь? - спрашиваю его.

- Да, каждый по-своему, - умно глядя, отвечает. - Я люблю иногда поговорить с хорошей девушкой – просто для духовного очищения. Я или беру от женщины всё, что она может дать, или – стараюсь вот так хорошо поговорить с ней. Болтовня, пустозвонство не для меня – женщин слишком много.

Не знаю, что во мне привлекает людей, - рассуждал Гога. - Может быть, эта одежда моя. Только я знакомлюсь без всяких затруднений. С человеком вообще можно очень быстро сойтись. Сойтись без промедления. Немедленно сблизиться. Ты, конечно, знаешь пословицу: не имей сто

рублей, а имей сто друзей. Сейчас в ходу другая: не имей сто рублей, а имей одну нахальную морду.

Частые общения быстро надоедают, - признавал он ещё. - Поэтому не люблю старые знакомства.

Он вскоре исчез, и я вроде совсем забыл про Гогу. Но через год Голиаф снова появился в городе: покончил с мореходством и приехал к отцу. На время, объяснял он, надо привыкнуть к сухопутной жизни.

Отец Голиафа

Отца его знал весь город. Ну, как же, Феофан Петрович! – все звали по имени-отчеству, запросто.

- У папы не дом, а проходной двор, - сетовал Гога. - Вечно толпятся *нужные* папе люди. Папа живёт открыто. Мне так жить не нравится. И при первой же возможности я от него съеду. Оторваться от папиного образа жизни – задача номер один.

Феофан Петрович пользовался особой популярностью. Он был директором всем нужного в студенческом городе магазина канцелярских товаров – достопримечательности Центрального рынка. Туда матери, как на праздник, водили детишек перед поступлением их в первый класс. Дети изумлялись, рассматривая картины с доисторическими гигантами – динозаврами, крутили глобусы разной величины, установленные на постаменте, и – верх возможностей! – кормили рыбок в большом аквариуме.

При вечной нехватке у граждан самых насущных предметов, Феофан Петрович, когда к нему обращались, никому не отказывал. Благодарность – за ней дело не стояло.

В рабочих помещениях Феофан Петрович не пил сам и не позволял никому другому. Особой расторопности торговля канцтоварами – чернильницами, тетрадами, ручками – и отпуском по разнарядкам указок, мела и глобусов, по-видимому, не требовала. Феофан Петрович появлялся на службе в начале дня, перед открытием магазина, давал указания и удалялся. Все в магазине знали – по делам. И то была не простая камуфляжная оговорка. Дела действительно делались. Естественно, не всегда увязанные с небогатым канцелярским ассортиментом.

Раннюю утреннюю кружку пива он пропускал обычно в *голубом дунайчике*¹ на Тверской, шествуя к рынку. В течение дня Феофан Петрович успевал посидеть в нескольких столовых и в ресторанах – центральном «Севере» (бывший «Норд»), вокзальном по кличке «Паровозик» или на речной «Волне». Домой он уже пешком не ходил, всегда отыскивались деловые партнёры-попутчики с автомобилем (как правило, со служебным, где за рулём шофёр, надёжный насчёт трезвости).

Но даже и к концу дня Феофан Петрович никогда не набирался настолько, чтобы утратить свою интеллигентную, благородную внешность. Хотя однажды мне всё-таки довелось увидеть, как он обхватил столб ворот у своего дома (на той же Тверской) и долго стоял так, обнявши и раскачивая ворота, потираясь о гладкий столб седую щекой с бакенбардой.

Однако на моей памяти это случилось всего один раз.

Сын своего отца – как сын лейтенанта Шмидта

В Чите у Гоги кончились деньги. Он попросил на почте телефонный справочник, откуда узнал адрес председателя горисполкома. Рано утром постучался в его квартиру. Был в форме. Проникновенно сказал:

- Случилось несчастье. Меня обокрали. Срочно необходимы двести рублей. Я решил обратиться к представителю советской власти. Одолжите мне эти деньги. Через две недели я возвращу их по почте.

¹ Голубыми дунайчиками называли питейные заведения, где продавали вино. (Прим. автора)

Матросская форма и мужественная внешность обветренного, крепкогоголосоого океанца произвели нужное впечатление.

- После непродолжительной гражданской панихиды...

- Ничуть не бывало! – вскричал Гога. - Тело *не* было предано земле! Ни тогда, ни позже на мою морскую форму не осело ни пылинки.

Деньги новоявленному сыну лейтенанта Шмидта дали безоговорочно. И тот же фокус Голиаф повторил в Иркутске, Тайшете и Красноярске.

- Деньги можно получать легко и неожиданно, - провозглашал Гога. - Надо только уметь приняться за дело.

Я развивал Голиафов посыл:

- И не иметь конкурентов, как их имели сыновья лейтенанта Шмидта простодушный Шура Балаганов и пронырливый фантазёр Михаил Самуэлевич Паниковский?

- Да, совершенно верно. Безалаберный Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта, да. Как выясняется, не все представители советской власти читали бессмертную книгу. И совсем необязательно просиживать в учреждении от звонка до звонка ради оклада и зарплаты.

- Как необдуманно поступали бухгалтер Фома Берлага и подпольный миллионер Александр Иванович Корейко?

- Именно так. Не уподобляться жалким, ничтожным людям.²

Сразу после возвращения к штатской жизни начинал он с того, что бегал по различным организациям. Уговаривал людей страховать свою жизнь.

- Работа сдельная. Всё действительно зависит от вашей разворотливости. Платят агенту с каждого застрахованного.

Но люди почему-то не слишком стремились страховать у Гоги. Новая профессия не приносила ожидаемого дохода, и Голиаф вскоре от неё отказался. У него нашлись оправдания:

- Агент госстраха будит нехорошие ассоциации. Я же хочу приносить ближним только радость.

С утра до вечера, не покладая рук и ногам не давая пощады, он принялся заниматься новой сдельной работой.

И тут я, кажется, сумел быть полезным.

Каждый день, с опаской переходя улицу, в редакцию молодёжной газеты семенил семидесятичетырёхлетний журналист-внештатник дядя Вася Букоянов.

- Привет, - бодро здоровался он и, не снимая пальто, садился к столу с телефоном. Спрашивал у того, кто сидел за столом: - Как дела? Здоровье ничего? Вот и хорошо. Детишки как? У тебя нету детишек? Вот правильно, нет, я и позабыл совсем. Не женат вовсе и не собираешься? Вот здорово сказал! Хе-хе-хе. Так, говоришь, не женат? Уважаю его, - сообщал старик окружающим редакционным людям. – А телефон тебе не нужен сейчас?

Удивительно, однако, как правило, аппарат оказывался свободным всегда и на всё время пребывания у нас дяди Василия.

И Букоянов принимался обзванивать весь город.

Выглядело это примерно так:

- Это горторг? Привет, привет. Букоянов беспокоит, из редакции. Ну, как дела? Здоровье ничего? Детишки как? Вот хорошо!.. Слушай, там у вас магазин есть, большой такой, - как его? Номер забыл, вот беда, память стариковская, хе-хе-хе. Ну-ну-ну-ну... Десятый? Вот правильно. Туда, я слышал, что-то привезли вчера? Ничего? Ай-яй-яй! Вот паразиты, обманули старика... Слушай, а куда привезли? Завтра ожидается? Бананы? Это ещё что за штука – бананы? Тропический, говоришь, продукт? Из Индии? Вот хорошо, друзья наши в Индии постарались, бананы прислали. А цена, цена-то не кусается? Нет, ну и ладно. Сколько, сколько, ты говоришь, процентов жирности?

² В тексте данного фрагмента комментируется эпизод из романа «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова. (Прим. автора)

И так далее, в том же духе.

Назавтра в «партийной» газете появлялась большая и подробная реклама, а у нас в молодёжке публиковалась подборка информашек под рубрикой «Коротко», за подписями: Вл. Букоянов, Б. Васильев, В. Григорьев, или В. Дядин, П. Дядин.

И все довольны.

Приведя Гогу в редакцию к дяде Васе, я рассчитывал, что при их общении Гога сможет выяснить адрес, по которому будут востребованы его таланты, но уже на первых минутах их содержательного разговора я понял, какую непростительную ошибку совершаю по недомыслию.

Гогин предприимчивый нюх обострился. Смекнув, где что-то плохо лежит, Голиаф, не теряя времени, порешил отбить хлеб у нашего пожилого внештатника.

- Старое, отжившее, - объяснил он, когда мы вышли из редакции, - должно уступать дорогу молодому, прогрессивному. Юному и рвущемуся вперёд, в будущее.

Старик сильно встревожился, поняв, что на беговой дорожке городской рекламы длинноногий морячок обскочит его в два счёта. Тем более, что дядя Вася в молодости тоже проходил службу на флоте, до сих пор носил тельняшку, и, если находился свежий слушатель, упоённо погружался в сладкие воспоминания о похождениях, главным образом, с женщинами, по разным заграничным портам.

Вдвойне обидным был удар, нанесённый коллегой.

Но умелый старик защитился.

Настал час, и дядя Вася принялся стенать и плакать. И Гога, уже было развивший лихорадочную деятельность по сбору рекламы, начинавший подсчитывать грядущие выемки из редакционных касс, получил жёсткий отпор: отделы объявлений отказались принимать продукцию Голиафа в обход старика Букоянова.

Наглядный телефонный метод восторжествовал над принципом «одинокого волка ноги кормят». Некоторое время Гога ещё боролся, в частности, выступил с планом раздела города на сферы влияния. Конвенция сыновей лейтенанта Шмидта не прошла. Не тот был обычай. И Гога остыл.

Однако краткое знакомство бывшего маремана с постановкой рекламного дела в городе не прошло бесследно: великодушный дядя Вася Букоянов набрёл для него на выгодную работу, устранив тем самым попутно и конкурента. Так Голиаф поступил оператором на городскую студию телевидения, отметившую трёхлетний юбилей, но ещё не успевшую обрасти постоянными кадрами.

А по моему адресу в редакции деловито и назидательно прошёлся замредактора и зав. отделом, влиятельный Леонтий Сидорович Тихомиров:

- Услужливый дурак опаснее врага.

На что Герман Добросклонов, защищая и меня, и себя тоже (Гога - брат, а это уже семейственность, что пресекалось) отозвался снисходительно:

- Юнец-внештатник имеет шанс исправиться.

- Если захочет не делать ближнему медвежьих услуг, - уточнил Тихомиров.

И тема была закрыта.

Тихомиров, товарищ вполне взрослый, почти пожилой, отзывчиво относился к моим рассуждениям на текущие политические темы. После съезда партии многие ошеломились. В редакции комментировалось услышанное на читках доклада. Тихомиров тоже возбуждался, тему поддерживал, припоминал нехорошие истории из своего прошлого. Но вот начались поправки сверху, стала публиковаться информация другого рода, и Тихомиров повёл себя с оглядкой. Будто и не распускал язык.

Однажды мы с ним шли куда-то по улице, он и говорит:

- Если спросят, о чём ты так жарко споришь, я, как коммунист, скрывать не стану.

Нашёл форму, как предупредить.

Веско и вполне запоминаемо.

Так что с Леонтием Сидоровичем, общаясь, надо оглядываться по сторонам.

Цена бесплатного хлеба

- Служба вечером, - объяснял Гога, - утро свободное, могу быть грузчиком, могу убирать снег. Я ради заработка ничем не пренебрегу. Очень нужны деньги. Деньги нужны очень. Куплю машину. Буду брать пассажиров. Не бесплатно. Не дешевле, чем на такси. Но и не дороже.

- Через год у меня будет восемь тысяч, - подсчитывал он.

Гога жил чрезвычайно экономно: питался в основном в отчем доме, а, если приходилось обедать на стороне, поступал по-коммунистически, то есть использовал подарок партии и правительства: брал в столовой молоко за копейки.

- Гроши за молоко, а хлеб бесплатно! – громыхал Гога. – И буду соискателем премии за пионерный подход к наступлению коммунистической формации. Я – в авангарде!.. *А хлеб бесплатно!*

Хотя счастье с халявным хлебом в столовых длилось недолго, но Гога своё урвал. В скорости власти спохватились, поблажка была отменена и забыта. От тех блаженных времён в столовых остались лишь настенные призывы: *«Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб – драгоценность, его береги!»* И другое, ностальгическое извещение: *«Хлебороб бережёт колосочек, покупатель – кусочек».*

И здесь, насколько можно судить, проявилась деловая Гогина хватка: успеть, схватить, уцелеть и отскочить в сторону до того, как примутся разбираться, кого бы обвиновать за разорительное пустообрёхство, да побольней ударить.

Расчёт с Голиафом

Очень не любил Голиафа Тима. И вот после какого случая.

Тимофей как-то подрядился ремонтировать дом заведующему местной потребкооперацией. Предстояло основательно повозиться: поменять трухлявые, как гнилые подушки, брёвна, перестроить подполье, заменить источенные грибком полы.

Дело было летом, не все студенты уехали на каникулы и, сколачивая бригаду, Тимофей взял пятерых политехников и подвернувшегося в нужное время Голиафа.

Глянув на него, оценил по достоинству:

- Здоровый парень. Подойдёшь.

И Гога не подкачал. Он многое умел делать руками. Он был хороший работник. Но студенты его не признали: Гога ничего не показывал неумелым, держался высокомерно, и старался ни с кем, кроме Тимофея, не разговаривать.

Прошла неделя интенсивной работы, забетонировали подпол, приступили к подъёму дома на домкрате. Тимофей объявил половину воскресенья выходным днём. Произвёл расчёт, и после полудня повёл всю бригаду в пивную, где и доплатил за выпивку из своей получки. Гога с неохотой тащился сзади всех, в заведении от водки отказался, через силу выхлебал полкружки пива и рано покинул коллектив.

В понедельник он снова, ни на кого не глядя, бодро набросился на работу. Вечером Тимофей оплатил авансом вторую трудовую неделю. Обид не возникло.

После работы они с Тимофеем пошли домой.

- Как ты думаешь, закончим через три недели? – спросил Гога.

- Я договорился свернуть всё за полтора месяца. И это самое короткое время. Ты что, торопишься куда-то?

- Всякую работу можно сделать досрочно. Выполнить и перевыполнить задание – вот лозунг нашего времени. Мощный, мобилизующий лозунг. Всё равно, что «пятилетку в четыре года».

- Ребята пока жидковаты для такого лозунга. Подожди, втянутся, тогда можно вернуться к разговору.

- Многие из них не поняли жизни. Жизнь мощными импульсами движется вперёд, и горе тому, кто от неё отстанет.

Тимофей вежливо хмыкнул.

- Поближе к теме, Голиаф, милый!

Гога продолжал:

- Снижение расценок – вот второй лозунг нашего времени. Оплата труда должна соответствовать затраченным усилиям.

- Ты, Валериан Феофанович, куда клонишь?

- На самом деле всё просто, как пареная репа. Нам должны уплатить в сумме 12 000 рублей. Так?

- Слушаю тебя. Говори дальше.

- Кто в этой команде работает с полной отдачей? Тимофей и, как тебе угодно было выразиться, я, Валериан Добросклонов. Верно? Голиаф и Тимофей. Справедливо ли, что молодые люди, которые только вчера научились забивать молотком гвозди так, чтобы не попадать себе по пальцам, получают столько же полноценных советских рублей, обеспеченных всем достоянием государства, сколько ты и я? Нарушаются основные законы политической экономии социализма.

- А надо как?

- Делим на два. Половина им, другая половина, опять-таки поделённая надвое, поровну, - Тимофеем и Голиафом.

- Несправедливо, друг мой Феофаныч, нехорошо, неправильно. Студентам же есть нечего. Ты видел: я плачу им каждую неделю. Иначе им не прокормиться, деньги быстро кончаются. Ты с нами не обедаешь, питаешься отдельно, не видишь, как они на еду накидываются. А я с ними. И подкармливаю их деньгами и бутербродами. Аппетит у них волчий.

- Беспринципный гуманизм – слюнявый пережиток прошлого. Буржуазный предрассудок. Голод – постоянный двигатель прогресса.

- Но ведь ребята не отлынивают от работы. И если с деньгами получится не по уговору, могут обидеться. И расплюются с нами. Уйдут с полдороги. А где я летом найду новую бригаду, ты подумал?

- Конфликтов не надо бояться. Частое общение быстро надоедает. Поэтому не люблю старые знакомства. За воротами процветающей фирмы всегда толпятся алчущие безработные трудящиеся.

- А знаешь ты что, милый Гога? Мы вправе считать наше предприятие частной лавочкой. Но гадить в миску товарища я не умею. И у тебя учиться не собираюсь. Ты получил расчёт до сегодняшнего дня и полноценный аванс, его возврата с тебя требовать не буду. Давай расстанемся по-доброму. Мне – налево...

Гога долго мям в руках капитанскую фуражку, остолбенело глядя вслед уходящему Тимофеем.

С этого происшествия в отношениях Голиафа и Тимки нельзя было наблюдать особой приязни.

Не подходит

Голиаф был коренным жителем города с его древними строениями, где полно надворных флигельков и жилых подвальчиков, и обитаемых чердаков, и боковушек, и, на худой конец, пригодных для ночлега крепких сараев и стоек³. В отличие от меня, скажем, приезжего, на тот момент практически почти бездомного, Голиаф сумел бы спрятать Серафима до лучших времён, а Тимофей без задержек перехватил бы эстафету, и дальше у меня об этом голова не болела.

Если бы ситуация с Серафимом возникла прежде обретения машины, то я не колебался бы ни минуты. Однако машина в собственности – вещь, несочетаемая ни с какой филантропией.

До покупки автомобиля этот одноклассник Каменского был мне понятен и близок, я ему доверял. После – передо мной был другой человек.

Так что, взвесив все за и против по поводу Голиафа-Гоги, я решил с ним не связываться.

Глава третья. Поручение исполнено

³ Стайка (*сиб.*) – небольшой сарай, амбар. (Прим. автора)

Тудэма-сюдэма и Юра Пашутин, мой добрый ангел

Будем же от греха подальше.

И я без дальнейших колебаний повёл Серафима к себе, на Тверь, там, в 39-й, кто-нибудь из ребят всегда на дежурствах, и, значит, свободная койка для непредвиденных нужд найдётся.

В родной 43-й гудело разноголосье. В комнату я не успел зайти, и правильно сделал. Оттуда сочился пар.

На моё счастье, только что примчался с каких-то побегушек Юра Пашутин из 39-й. В коридоре стоял с чайником. На вопрос: «Не знаешь, случайно, где твой тёзка Каменский?», он отвечал правдиво: «А кто ж его знает...»

- Сюда нельзя, - объяснил я Серафиму происхождение пара, сочившегося из 43-й, а также и наличие чайника в руках Пашутина. – Разыгрывается пьеса «Клоп» Владимира Маяковского. Коля Сынок и Витя Шуцкин взялись умерщвлять насекомых.

- Взялись-то они взялись, да что толку, новые насекомые нарастут и расплодятся. Они же, вульгарисы, любят нарастать и плодиться. Или как? – раздумчиво заметил Юра Пашутин, человек парадоксальных движений позитивной мысли. И похвалил: - Хорошо, друг, ориентируешься в классической литературе. Вижу: у тебя ко мне что-то есть.

Я коротко объяснил.

- Правильно соображаешь, старина, - сказал Юра Пашутин. Назвал того, чью койку можно занять без осложнений. – В твоей комнате, когда клопоморство закончится, народ опять соберётся, и не ради сна. И от курева не продохнёшь. Пойдем-ка мы с тобой и с нашим уважаемым постояльцем сразу в 39-ю. Только занесу кипяток. Тудема-сюдэма.

Занёс. Пар вырывался в коридор, пока дверь стояла открытой.

Действительно, в 39-й пустовали целых три свободных кровати. Да тощему Серафиму и одной было много.

Из еды нашлись хлеб, масло сливочное, рафинад-сахар, неначатая банка баклажанной икры и пачка *коффе*.

- Гуляй не хочу! - одобрил Юра Пашутин.

Аппетитом нас троих Бог не обидел.

Кипяток был. Чайник нам возвратили. Вода в титане ещё не остыла.

Пустая койка – вот она.

И познаёт науку, позволяющую половчей обращаться с папиными деловыми дружками. Чтобы ни себя, ни дедов не обидеть.

И вытрясать из стариков кой-какую нужную мелочёвку.

Да притом не присесть ненароком в места ненадобные.

Я заменил чужие тряпки на свободной кровати моими, и Серафим, окончательно сытый, на моих свежих простынях и подушке, под моим одеялом, сверкая чистотой, как нэповский полтинник, свернулся колёсиком, смежил глазки, и здесь его больше не было.

Не слишком ярко светили на Твери лампочки. И шрам с неровными краями на щеке и челюсти у Юры Пашутина совсем в глаза не бросался.

Я, когда впервые увидел Юру Пашутина, спросил:

- Это у тебя следы от ожога?

- Не так, миленький. Тудема-сюдэма!.. Это привет из скандального детства.

- У вас было скандальное детство, сэр?

- Потому, что в сиротские детские годы случайно оказался награждён неким заболеванием, которое считается пережитком проклятого капитализма. А это же и есть скандал, самый натуральный. Не сторонись от меня, как от венерика. Ничего общего.

- Золотуха. Незаразно, - флегматично пояснил заседающий в 43-й Радий Волковысский, не отрываясь, впрочем, от преферанса.

- Нынче не часто этим болеют, почтенные коллеги, не часто, - возражает Юра Пашутин.

- Хотите сказать, distinguished, – редко? - озадачивает вдумчивым вопросом Рад Волковысский.

Пашутин уже включился:

- Извините, сэр, нет ли нюанса между понятиями: *редко* и *не часто*? Надо бы подкрепить цифрами. Тогда можно сравнивать что-то с чем-то. Поясните, пожалуйста. Прошу вас!

Так, вроде бы ни с чего, разгорались пламенные *дебаты в 43-й*. Обычно я, если сам не выступал, то внимал обсуждению с большим почтением, которое по мере поднимания по ступенькам курсов становилось всё менее осязаемым и, наконец, истаяло до конца. Совсем.

Пока устраивали Серафима, добрый мой Юра Пашутин наделил новостью. Не то чтобы огорошил, но преподнёс в такой манере, что было, над чем поразмыслить: как реагировать, как относиться. Прямо не Юра Пашутин, а полномочный представитель Гоги Добросклонова на Тверской улице.

- Твоя подруга, старина, говорят, чуть не отдала кони... Политический момент. Каменский её едва не уморил.

Я так и осел.

- Какая подруга? Ты что! Не может быть!

- Подруга, не подруга, но, в общем, близкий к тебе человек, тудема-сюдема...

- Ещё не лучше. Когда? Как? Рассей недоумение! Причем здесь политика?.. Мои подруги на верха не ходят. Изясняйтесь яснее, сэр, вы не на экзамене.

- Уточню, никакая не девчурка, зря пугаешься. А вот есть в институте преподавательша, которая тебя однажды выделила из широких студенческих масс. Ещё ты у нее зачёт по червям сдавал не с одного раза, а с нескольких. Забыл, что ли? Партийная вся такая. Выступает. Личность из коммунистического завтра. Ну!.. Освежи память! Так вот, она отныне не только ассистент на той несчастной кафедре, в краю, где водятся гельминты. Тудема, сюдема!

- Эпизод с червями не тот, что легко забывается. Боева-Струнина?

- Она.

- Какой же она мне близкий человек? Я из-под её гельминтов насилию переполз на третий курс. *Тэниаринхус сагинатус*, *тениа солеум*, опять же *энтеробиус верникулярис*... У того матка на севере, у другого члеников на два больше, чем в учебнике. Попробуй, запомни с одного раза.

- Ну да, с одного раза не выйдет. Надо хотя бы с двух. Хочешь, наизусть процитирую?

- Лучше потом как-нибудь. В свободную минуту, Юра.

- Принимается. Так вот, слушай. Декан лечебного факультета Рокотухин, почтенный учёный, умудрился вдруг основательно захворать, вследствие чего выпал из обращения, по всей вероятности, надолго. Струнина временно назначена и.о. замдекана на лечфаке. На вырост. На приказе ещё чернила не высохли, а Боева уже фактически вся во власти. Её, такую, в гроб не загонишь. Скорее она тебя туда пристроит. Лежи, скажет, Лёва Семёнов, и учи уроки, меньше думай о политике, а я пошла себе на верха, и прозябать дальше в ассистентах не собираюсь. И первый кандидат в жертвы уже наметился.

- Каменский? – прозорливо спросил я. Я был уже осведомлён, однако на всякий случай притворился незнающим. Хотя Кремень проговорился, расписал происшествие в красках. Но мне захотелось узнать то, что известно другим. И что вообще будет. - Позвольте, сэр, уточнить одно обстоятельство. Сидел ли он в зале до её прихода или появился там независимо от этого?

- Его самого опять на Струнину вынесло. Припёрся в деканат. Она уже из кресла поднялась. Засобиралась по заданию парткома первый курс и всех, кого загребёт по дороге в актовыв зал, как, например, некоего Юру Пашутина, просвещать насчёт Двдцдтого съезда. И сразу нарвалась на Кременя.

- А некоего Юру Пашутина – для страховки, что ли?

- Похоже, что так.

- Кременю нужен отпуск. Пришёл просить? Декана не было, болеет. А Струнина отказала. Я угадал?

- Ага. По-моему, Струнина немного не рассчитала свои возможности. Себе под силу не того выбрала. Закочевряжилась, тудема-сюдема. Нет, чтобы просто черкнуть и отпустить с Богом. Или, на худой конец, твёрдо назначить другое время. Не сию минуту. «Хорошо, мол, пойдёте со мной по-доброму, или подойдите позже, поговорим как-нибудь по душам, а так, говорит, после лекции я в деканате не буду». Или «С отпуском ждите до каникул». Одно из двух. А она, дурочка, сама полезла. «Пойду на лекцию, говорит, идите, послушайте, вам полезно». Условие поставила: ему полезно, а то она не подпишет. Каменский, делать нечего, увязался за ней. Меня увидел в толпе, и я тоже пошёл.

- Так всё-таки - ты свидетель?

- Получается, да. Могло обойтись, а он увязался. Спешил, тудема-сюдема!.. Почуяло моё сердце, дело обернётся неладным. Думаю, смягчать придётся. Но не успел я вмешаться, тудема-сюдема!.. Сбоева-Тпрунина, как всегда, несла ахинею. «У французов медицины нет, потому что буржуазная страна. Все поумирали, а те, кто на тот свет не попали, туда со всех ног торопятся». Ну, тёзку моего взорвало. Французы тоже люди, кричит, не глупее нас с вами. Но он сказал проще: не глупее вас. И замолк. Она не выдержала: «Вам надо покинуть помещение!» «Вы меня сами сюда привели. Вы и покиньте!» Ей ничего не оставалось, как взять себя в руки и, по возможности, продолжить. Хвалить Лепешинскую, передовое учение в медицине...

- Про ту историю я знаю.

- Так тут же было мощное продолжение! Там вообще гора подробностей. События следуют кучно, одно за другим, как пули в мишень, и все в яблочко. Каменский и выпалил, что у Лепешинской учение бездоказательное. Что, мол, из неживого родится живое. Сказал: «Из грязи одна грязь и родится». Она в крик: «Хорошее учение, правильное!» Струнина за Лепешинскую шкуру спустит: её кумир. Орёт: «Лепешинская самого Ленина при отъезде из ссылки пельменями кормила». Каменский - своё: а вы, мол, чепуху молотите. Пельмени и наука – ничего общего. Понимаешь? Кого Лепешинская пельменями кормила? Ленина! Самого Ленина! И заодно Крупскую, чтоб тоже в дороге не отошала. Они же все живые были. И молодые. Есть хотели. Это как?.. Дошли до менделизма-морганизма...

- Так же и до вейсманизма с авиабомбой. И фрейдизма с противогазом.

- Все лжеучения на свете приплёл!..

- Продолжила?

- Попробовала продолжить. И окончательно она взбеленилась, когда он перебил снова. Тут Кременя понесло насчёт Солнца. Буду справедливым: она, поверь, не спровоцировала, просто у него загорелось устроить диспут. Если, говорит он, Солнце источник жизни на Земле, то и бури у нас в природе, когда на солнце буранит, и – очнись и вникни! – все войны и *революции* с тем же связаны, и надо считать циклы и строить прогнозы. *Проляпус лингве*⁴, типичный.

Тудема-сюдема! Где революции, а где Солнце, источник жизни!? Слово за слово. «Студент советского вуза, как вы смеете!»! Она ему, поверишь ли, снова, да ладом: «Вам надо покинуть помещение!» Он, чему удивляюсь, спокойнѐхонько: «Актовый зал такой же мой, как и ваш, вы и покиньте!» «Вы срываете лекцию! Вам это даром не пройдёт!.. Удалитесь!» «И не подумайте. Я вас сюда не звал!»

- Студенты-то как реагировали?

- Побледнели. Не каждый день такое случается. Сидели, рты разинув. Тишина мёртвая. Такой ругани никто не ожидал.

«Вы больше у нас не учитесь!», тудема-сюдема... «Не вам решать!»

- А решать-то как раз ей.

- Ну да, в деканате. Дальнейшее вполне трагично. Сбоева-Тпрунина окончательно впадает в ступор. Полностью обездвижена. Действительно, где Каменский, трогающий Солнце за

⁴ Prolapsus linguae, выпадение языка (лат.), - медицинский вульгаризм, приблизительный аналог русского выражения «болтает что попало». Ещё и фривольный намёк на довольно мучительное и неприятное заболевание prolapsus recti, выпадение прямой кишки. (Прим. автора)

подбородок, а где Сбоева-Тпрунина? Тудема-сюдема! Где замдеканша, а где Каменский Юрка с обжитки на Твери, я спрашиваю!.. Началось обильное слёзотечение. Из-под очков. Старушка ведь почти слепая, линзы телескопические. И слёзы не маленькие, а крупные. С пятак величиной каждая. Очки от напора солёной влаги тоже потекли, подвинулись и начали падать. А Юрка – добрый такой: нате вот вам платочек. Утретесь.

- Платок хоть постиранный?

- Издалека разглядывать – так вроде ничего платок, чистый.

- Взяла?

- Ага, возьмёт она. Зыркнула в злобё и уканала. С поднятой мордой. Вот и всё, братец Лёдик.

- Очки не уронила?

- Не. Очки на морде унесла. Без них никак. И вместе с очками на морде Юркин отпуск уплыл, конечно... Кремень у неё теперь *лѣкус минорис рэзистэнциэ*.⁵

Тудема-сюдема... Но что интересно – про Двадцатый съезд практически ни одного слова, назвала только тему лекции. Во как! Уметь надо, а! Или как?

- Плохи дела-то. Совсем неважные.

- Каменскому теперь отпуск так и так не светит. Или как?

- Бессрочный светит. Но ты, Юра Пашутин, мастер загадки загадывать. Человеку со слабым сердцем тебя слушать опасно. Подругой моей её назвал... Стыдитесь, сэр!

- Не понимай всё буквально, Лев. Ты у нас Лев, а так же и Лёдик. Или как?

- А ты, Юра, в том диспуте не участвовал? Нет?

- Где я, а где она, тудема-сюдема! - возмутился Юра Пашутин, человек внезапных движений ортодоксальной мысли. - Я на пятом курсе, а она вас, малоумных, строполит всего на втором. Думайте сообразно ситуациям, сэр.

- Строполила.

- В точности формулировок тебе не откажешь. Увы, в прошедшем времени – строполила. Жаль, что не ныне.

- Во-первых, я, если дурак, то умудряюсь умнеть уже далеко не на втором курсе родного медвуза, а во-вторых, ты разве не у неё учился?

- Грешен, умудрился вместе с грузом гельминтозов проскочить от неё в сторонке, у другой преподавательши, попроще.

- Больше у тебя, Юра, новостей нет? А то моё сердце не выдержит, сам понимаешь...

- С тебя на сегодня хватит. А сердце своё закаливай, старина, тудема-сюдема. Работай над собой, поднимай по вечерам гири. Можно и утром, перед учёбой. Дважды в день – ровно вдвое больше, чем один раз. Удвоение усилий, старина. Усвой навсегда, очень тебя прошу.

И продемонстрировал.

- А чего ты всего лишь полупудовиком себя осеяешь? - мстительно поддел я. - Здесь же, в 39-й, и двухпудовки в ходу, и целых две – на каждую руку по одной. Две гири вдвое больше, чем одна. По твоему же счёту, сэр. Халтуришь, брат Юра Пашутин.

- Тебя берегу. А то, знаешь, дурной пример заразителен: захочешь сразу стать сильным, схватишь с абзату максимальную тяжесть. И надорвёшься. Родина недополучит одного лекаря, хорошо подготовленного, промуштрованного в стенах прославленного, орденоносного сибирского вуза. Разбирающегося, кого Сбоева-Тпрунина в ссылке пельменями кормила. О стране надо подумать. Или как? Впрочем, если не устал, достань там вон из-под койки две пары перчаток, я тебя потренирую...

- Ага. Мне давно нос не били. У меня школе хороший тренер был Нестор Осипович Розум, по прозвищу Нестер. Он учил и нападению, и защите.

- Не бойсь, Лёдик. Я не хуже твоего Розума справляюсь.

⁵ Locus minoris resistentiae (лат.), место наименьшего сопротивления. В медицине – область в организме, наиболее слабо устроенная, и потому подверженная болезненному (болезнетворному) разрушению. Русский эквивалент – «где тонко, там и рвётся». (Прим. автора)

- Не заноситесь, маэстро. Пожалуйста. А на самом деле-то Лепешинская кормила.

- Да, Лепешинская. Точно. Не Боева-Струнина. Извини, оговорился...

- Спасибо тебе, Юра Пашутин, мой добрый ангел, за ценные сведения!..

Юра Пашутин – второй Гога. С поправкой на латынь и боксёрство, мешающее ему по *войнишкам* носиться. Правда.

Тудема-сюдема, *лёкус минорис резистенциэ*... Или как?

Ираида и Марианна

Надо же доложить, куда девал Серафима.

Откуда его Тимке забирать придётся.

Вот уж кто замуж точно не собирается, так это Ираида. Поздно, говорит, время прошло, без замужа прожила, и дальше – даже если б и захотела, то всё равно не получится. Где уж нам уж выйти замуж... Младшая сестра её Марианна ещё на что-то надеется. Одного *субчика* мы с Ванечкой ей случайно предоставили, как будто понравился, теперь с ним валандается. Только, сомневается Рина, надолго ли собаке блин?..

Марианна, верная дружку Герману, по заочной просьбе его наигрывала песенку:

*А клёши новые,
Полуметровые,
Шикарно улицу метут.*

Рина знала, с чьей подачи пролезла в голову сестры такая музыка. И обрывала, не дослушав:

- Кончай базар, Маня. Не надо мне ни *Клёша*, ни братца *Клёшина*!..

Редчайший, единственный в своей уникальности случай: чтобы Риночка брала на себя ответственность кого-то почему-либо не принимать на Загорной.

Марианна, поймите сами, обижалась.

Но не подчиниться не могла.

Вот Голиаф на Загорную глаз и не кажет.

Видимо, опасается проницательной Рины.

И заступиться за него я не брался. Чувствовал себя виноватым: устроил неприятное добрым людям знакомство. Просто не водил его больше на Загорную. И Марианна, по-моему, тоже радовалась, что не видит Гогу.

Тимка застарелую неприязнь к хваткому Голиафу-Гоге (если про Голиафа переносить, то это надо вымарывать) распространил и на Германа.

Садился к роялю и угадывал, что надо, без слов:

*Так наливай, сосед, соседке.
Соседка любит пить вино.*

Марианна с благодарностью кивала, и тотчас занимала его место у клавишей, дабы продолжить петь Беранже.

*Вино, вино, вино, вино!
Оно на радость нам дано!*

Ей уж было налито.

А себя Тимофей и сам никогда не забудет.

Вот и не верь после этого в суеверный рассказ про феномен передачи мыслей на расстоянии!..

...Прохожу, спрашиваю:

- Где, Риночка, народ?

- А я уже не народ?

- Ты, конечно, Риночка, народ. Но и другие ведь тоже народ, согласишься.

- Пристроил Серафимку-то? Чего молчишь?

- Я не молчу. Как мог, пристроил. Дальше видно будет. Нынче вечером надо определить куда-то на квартиру. А нет – так в *обжитии* поболтается. У нас облав до сих пор не было.

- Ну и молодец ты... Тимошка возьмётся – в городе спрячет, как иголку в стоге сена. Тебе его надо? Поищи на мелькомбинате. Шабашку пообещали, бегом побежал.

- А Марианна?

- Марьяша вместе с твоим приятелем Германом укатила на пароходе. Повёз её прошвырнуться в Энск, по ресторанам большого города. Лишь бы денег у него, хлыщеватого, хватило... Ты, что ли, не знаешь?

- Откуда мне знать-то? За вами за всеми не уследишь...

- Авантюрист подлинный. Женат, поди. Не верю я в будущее таких скороспелых романов.

- Не будем опережать события. Дед-папка далеко?

- Дед у нас непоседа. Всегдашняя моя забота, как бы дед не потерялся... Побежал за водой на колонку – и тью-тью: пропал. Жду не дожусь, хочу ставить суп, а воды как не было, так и нет. Отправился туда с вёдрами, и второй час – ни деда, ни вёдер. Ни воды, естественно.

- Ни супа тоже, естественно. Должно быть, встретил какого-нибудь из корешей. Как водится, завернули в чепок, вот и все дела...

- С нашего деда станется: с вёдрами – и в чепок.

- Дед у вас, правда, мировой. Слушай, спросить хочу: почему его Тимофей папкой зовёт?

- Думала, ты догадался: Тимошкиного родного отца мы после тридцать седьмого года не видели. Как тогда взяли, так и канул, и больше ни слуха, ни духа... Тимошка вырос на руках у деда и у нас, двух тёток.

- А мать?

- Мать после войны как демобилизовалась из армии, так, в чинах и наградах, и осела в Москве. У неё друг – большой человек. Писатель, в Испании воевал. И в Отечественную на фронте. Мы для неё – отрезанный ломоть. Братьев поделили: младшего Димку она взяла к себе в Москву, а Тимошку нам оставила. Мы и поднимали его, из рук не выпускали.

- Подняли, значит...

- Видишь, как ты способен вызвать на откровенность: всю семейную подноготную тебе открыла. Сходил бы лучше на колонку посмотреть – может, с дедом по дороге чего приключилось. Ты же шёл к нам не через Обруб, наверное? Мог с ним и разминуться.

- Да, с той стороны я шёл, из переулков. И разминуться мог. Ладно, ухожу. Не встречу деда, тогда не вернусь, а повстречаю – с ним придём, заявимся вместе. На всякий пожарный, будь здорова.

- И ты не хворай. И делай, как тебе лучше. Деда увидишь – турни домой.

В другой раз шли из читалки с Ванечкой. Сделали добрый круг – через Загорную, услышать Тимку Воронова. Давно не видались, живой ли? Приходим – Ираида, в трико и полосатой рубаше навыпуск, со шваброй в руках, на швабре мокрая тряпка, тут же ведро. Полы чистит.

- Привет, Рина. Нас мало, но мы в тельняшках?

- Вот уж от тебя не ждала, что дразниться будешь.

- Извини, пожалуйста, не обижайся, но какая дразнилка? Наоборот, редкость: тельняшку ещё достать нужно. На рынке не самый дешёвый предмет, да и не всегда бывает.

- У нашего деда в сундуке, на котором он спит, если покопаться, ещё и не то обнаружится.

- А то я думаю: чего это мне нафталиновый запах на Загорной сегодня мерещится.

- Тельник у меня старый, надеваю по самым торжественным дням.

- Сегодня какой праздник? Ведь не Первое мая, не Седьмое ноября?

- Вы вот пришли – праздник. Чай пить будете?

- Нет, что ты, какой чай! Тебе же праздновать со шваброй. Тимошку опять спрятала?

- Под кровать залез. От долгов скрывается.

- А на самом деле?

- На самом деле со стариком на мелькомбинат отправились. Дедовы товарищи – Тимошкина бригада – руют котлован подо что-то невообразимое, котельную вроде бы. Великая стройка коммунизма, второй ДнепроГЭС...

- Или Усть-Каменогорское море...

- Да. Директор Вертула посулился выписать аванс. Так что в кои веки и в этом доме появились шансы поесть мяска.

- Не обманет?

- Вроде не должен. Нашёл, чем расплатиться, деньги даст хорошие, не обидные, как в прошлом году, когда траншею под трубы копали... А то Тимошка ославит его на весь город, даром что Вертула - дедов товарищ. И тогда этот барбос Вертула никаких умелых шабашников больше не получит. Нашего Тимошку знать надо. На ногу ему кто наступит – репутацию надолго похоронит. В той же ямке.

- Полы для чего драишь?

- А ты как думаешь? В грязной квартире принимать гостей солидно?

- Всё. Я понял: с авансом старики сюда нагрянут и будут сидеть до тех пор, пока целиком все деньги не оприходуют. Угадал?

- С одного раза.

- Выходит, Рина, ты у нас *Морячка Соня как-то в мае...*

- Вроде того. А кстати, насчёт одесситов. Нашей Марьяшке подарили новые ноты. Весь Утёсов. Приходи, будут играть. С Тимошкой, в четыре руки.

- А петь кто будет? Под Утёсова? Я не умею. У меня слуха нет. Может быть, ты, Вань, а?

- Уменя со слухом тоже не без медведя, - поясняет Иван.

- А нам с вами и не предлагают, - вежливо спохватывается Ираида.

- А мы вот решили посоветоваться насчёт выбора будущей специализации.

- Это бы с Тимкой. На крайний случай, Марьяша, возможно, что-то подскажет. Я в таких делах не пётрю.

Потом она обратилась к Ивану:

- А что хотите?

Иван за словом в карман не лезет:

- Куда черти с кочергой помянут, туда и двинемся.

- В ад?

- Медицина – вся там. В пекле. Однако, у каждого чёрта свой котелок подогревается.

- Верно, - соглашается Рина.- Ох, как верно-то!

Рине толковать с Иваном явно нравится. Но надо полы драить. И потому говорит она по делу:

- Костька Буткеев, певец, артист из филармонии, детский Тимкин друг, собирался прийти. Вообще-то он редкий гость у нас в квартире. А тут приспичило: гастролы на носу, дома рояль не настроен, вот и про Загорную вспомнил, у нас репетирует. Марианна за роялем, Буткеев по вокалу, Тимошка на подхвате, запасной вариант. Пряма-таки концертная бригада из филармонии.

- Осталось только набрать публику.

- Тебя посадим на кассу, Лёвик. Возьмёшься продавать билеты?

- Не боишься, что так наторгую – будешь целый год потом долги расхлёбывать?

- Ладно, в банкиры не годишься. Приходи сам в роли публики. И товарища возьми.

- Иван, тебя?

- Пригласи, если захочет.

- Уже захотели. Договорились, Риночка, будем. А пока что - мы рванули. Привет всем вашим.

- Ладно, идите.

И снова за швабру.

Вот я и думаю: откуда у пожилых людей в сундуках тельняшки заводятся, и почему многие из них так любят морскую одежду? Не все, но есть те, которые любят.

Ираида – Рина, она что – мореплавателка?

Мне и в мыслях не грезилось, что от бедности.

Кроме того, я полагал, что о бедности в Советском Союзе, в отличие от царского времени, говорить неправильно, значит, и думать не нужно. В редакции так наставляют: мы не буржуазная страна, у нас нет безработицы, все работают, строят коммунизм, мы верим в советскую власть, а что такое бедность, давно забыли.

Директор Вертула

Над котлованом сновали воробушки, иные садились, долбились клювами о брезент. Поняв, что впустую, снова снимались и опять начинали махать серовато-бурыми крыльями в пропахшем глиной и сыростью весеннем воздухе. И запоздалые снежинки, закрученные лёгким ветром, порхали вместе с птичками.

Тима ни в тот раз, ни прежде, ни потом не хвастал своими достижениями. Факты и только факты. Дело и ничего, кроме дела. Работа за деньги и деньги за работу - тут вам и весь Тимофей. Так и нынче: прежде чем отвести меня к директору Вертуле для получения интервью, он показал мне тот самый котлован, за который с ним вот-вот расплатятся необходимыми деньгами. Благо, идти недалеко было, практически чуть ли не сразу за проходной и слегка в сторонке от входа и от ямы, – не плутая по территории, можно подняться в контору.

И вот я имел удовольствие лицезреть несомненное достижение современного_строительного искусства.

Яма была квадратная, и по размерам выглядела внушительной. Действительно, по словам Тимофея, её габариты составляли десять метров длины на девять с половиной ширины, четыре в глубину.

Почему так, и куда девалась вторая половина от последнего метра на контуре, было не вполне понятно. Видимо, забор скушал – к ограде яма оказывалась прямо почти впритык. Куда смотрели они – проектировщики? Туда и смотрели – на забор. К тому же делали проект не анонимные *они*, а подвизался здесь во всех аспектах вполне узнаваемый Тимофей-строитель.

Вырытый котлован прикрывали большие куски брезента, по краям прижатые старыми брёвнами, бетонными огрызками да ещё каким-то тяжеловесным хламом. Это всё сделано, чтоб ветер не унёс прикрытие и чтобы дождь не заливал, если директор Вертула нацелится нынче всё-таки закладывать фундамент.

Когда наступит такое время блаженное (и наступит ли вообще) – тоже бабка надвое сказала.

Ярослав Кузьмич Вертула расплачивался с Тимофеем (подрядчиком) частями, поэтапно, по мере производства определённых работ и выполнения заключённых договоров. Вырыли яму – пожалуйста, получите своё без обмана и проволочек, потому что деньги всем нужны. Зальёте фундамент – опять в кассу. Далее – коробка, затем, разумеется, стены с дверями и окошками, а в заключение будете покрывать сооружение крышею над чердаками, и тоже не бесплатно. А там – внутреннее устройство: остекление, печь с угляркой, электрическая проводка, водопровод и, само собой разумеется, труба кирпичная...

Получается, что шабашка возможна более-менее постоянная на год, а то и дольше.

Что говорить, умел Тимофей дела устраивать. Старики-работники за расторопность его и ценили. И любили, конечно. И потому ещё, что с детства знали его, а Тима – он же предприимчивый, и самую первую шабашку наладил уже во время его учёбы в десятом классе! (Что была за учёба – об этом позже).

Я похвалил работу, пощёлкал языком, а заглянув под брезент, узрел глубины, которые уводили прямым в бездну по направлению к центру земли. В тёмных земных недрах прислонёнными к стенкам стояли две высоченные деревянные лестницы, по ним землекопы спускаются вглубь, достигают дна, а после выбираются наружу.

Тут я усомнился, и справедливо:

- В самом ли деле, вся катакомба так-таки лопатами и сотворилась?

- Ну, почему же одними лопатами? Поначалу был худенький тракторишко, но с ним не повезло – Серёга, тракторист, запил, шабашка едва не лопнула... И вручную, да, большую часть доделывали. Ты спросишь, куда вынута земля девалась...

- Спрошу...

- А погляди – вон там кучка лежит, всего немного земли. Остальное я сам лично вывез на мелькомбинатовском грузовике. А эту горстку увозить не стал, может пригодиться, подсыпать куда-то или что... Лёшка-тракторист не вовремя загулял, пробовали добудиться, не смогли.

Пришлось нам с дедами лопатами пошуровать. Деда у меня здоровые, кто-то и с высшим образованием, а землю рыть не гнушаются... Ты не смотри, что у котлована стенки неровные, мы их потом доправим.

- Ладно, пошли теперь к Ярославу Кузьмичу. Я тебя ему подхваляю малость. Нужно?

- Одобрительный отзыв никогда не помешает, конечно. Хотя Кузьмич знает, что на меня и на папку всегда можно положиться.

Директор Вертула, мужик весь из себя массивный, краснолицый, со спутанными остатками седин вокруг багровой плечи, стоял у окна и задумчиво разглядывал что-то на дворе. Увидел проходившего мимо работягу, окликнул через открытую фортку:

- Эй, Харитоша, ты бы там в трансформаторе покопался, а то свет чего-то забарахлил.

- Предохранители старые. Летят к чёртовой матери.

- А ты найди новые. Смени.

- Да я ищу, Ярослав Кузьмич.

- Найдёшь – скажешь. Иди давай, не болтайся зря по территории.

- Да я и то – по делу хожу, Ярослав Кузьмич.

Так они и поговорили, начальник с подчинённым. Ярослав Кузьмич Вертула через фортку поруководил производством.

Директор Вертула роста оказался немаленького, притом, что живот холмом выдавался. Лицо одутловатое, пиджачок топорщился, потому как пошит в ателье некачественно, и был сильно измятый, а галстук у директора неопределённо-ржавого цвета, широкий, руководящий, такой, какой полагается носить всем начальникам любого ранга.

Однако видно же, что человек совсем не глупый.

Моя хвалебная реплика насчёт очень хорошо вырытого тимкиной бригадой котлована особого впечатления на заказчика не произвела. Просто осталась без отзыва.

Мелькомбинатские производственные дела директор Вертула излагал вдумчиво, с перерывами, избегая нецензурных лексических изысков в виде слов-паразитов, потому я без напряжения из его речей усвоил всё нужное для газеты про мелькомбинат, единственный в городе, к тому же и одно из самых передовых предприятий в отрасли, выполнившее и перевыполнившее соцобязательства, взятые в честь съезда партии, на немалые проценты.

- Как только нам определяют переходящее красное знамя министерства, то приходите. Через вот его дам знать, - показывая на Тимофея и с полной уверенностью именно в таком нарастании событий, пригласил Ярослав Кузьмич.

И вскорости недвусмысленно дал понять, что деловая часть нашего к нему визита оказалась почти исчерпанной.

Однако послан я был из редакции с оперативным заданием и, предъявив Ярославу Кузьмичу редакционное удостоверение, был уверен в полном доверии собеседника и в его откровенности тоже. Мне поручили подготовить заметку на актуальнейшую тему (немедленно в номер!), вот я и поставил вопрос так: а что Ярослав Кузьмич вообще-то думает по поводу итогов Двадцатого съезда партии.

И тут он поднялся, встал у фортки вполоборота к нам, чтобы видеть одновременно и меня с Тимофеем, и производственные площади, и после особенно длинной паузы выдал уникальнейшее, на мой взгляд, соображение:

- Двадцатый съезд имеет две стороны, - безапелляционно отметил директор мелькомбината Ярослав Кузьмич Вертула. - С одной стороны, Двадцатый съезд имеет историческое значение, с другой стороны – он имеет значение мировое.

Полнее не скажешь.

Следовать за конкретикой я постеснялся, и Тима потом сказал, что я поступил дальновидно.

Ибо ведь как спрошено, так и отвечено.

Фраза, конечно, выдающаяся, но как её напечатать, единственную, всеобъемлющую, а главное, неповторимую? Придётся расшифровывать и домысливать, что неизбежно, притом в хорошем темпе, ибо газетный номер ждать не будет.

Я, было, собрался прощаться, даже привстал.

- Ну мы чо или мы ничо, или мы уж совсем ничо? - не отрываясь от стула, задался вопросом Тимофей.

Оказалось, мы таки *чо*.

И Ярослав Кузьмич подошёл к простенькому шкафчику, откуда двумя руками бережно и осторожно вытянул графин, из тех, что обычно ставят на красные скатерти, которыми покрываются столы президиумов во время различных собраний и заседаний. Графин был полон примерно на две трети, и содержимое его выглядело абсолютно прозрачным. Я по неопытности решил, что он угостит нас водой, возможно, свеженькой, от близлежащего ключика, и про себя удивился, зачем бы это. Но за графином последовали три гранёных стакана, глубокая тарелка с крупно нарезанными солёными огурцами, с массивными ломтями чёрного хлеба и двумя головками чеснока.

- Ну, вздрогнем! - призвал хозяин.

Тимка закусил огурцом. Вертула, сглотив, только понюхал корочку. Зато я, закусывая, без стеснения умял два ломтя хлеба, пол-огурца и целых две дольки чеснока.

Чего бояться-то, раз угощают, а есть так хочется.

Они моего жора не заметили.

- Боюсь я, Тимофей, за землю, - сообщил Ярослав Кузьмич, когда выпили.

- Да нету там никакого пльвуна, Ярослав Кузьмич! - отозвался Тимофей. - Успокойся. Нету!.. Я сколько раз производил геодезическую съёмку, тебе докладывал, вспомни.

- Хорошо бы. Ладно, будем надеяться...

И тут же опять спохватился:

- Не ухнет котельная, а? - всё же не отвлекался от темы и, как видно, не в первый раз беспокоился хозяин мелькомбината.

И продолжал угощать:

- Ещё не выпьете, ребята? Я-то не буду, сердчишко прихватывает. Ты, Тимофей, не побрезгуй. И корреспонденту налей.

Я отговорился – и не соврал: завтра в институте должен сдавать коллоквиум, и могу завалить, если не подготовлюсь, а хвостов и без того много, стипендию отнимут, что нежелательно. А сегодня в редакции ждут с материалом по мелькомбинату.

- С материалом да, это важно, - с пониманием отозвался Ярослав Кузьмич. И добавил: - Стипендию тоже сохранить надо.

Тимофей между тем налил себе из графина, на сей раз не четверть стакана, как повторил бы Ярослав Кузьмич, а добрую половину (видимо, за себя и за него), отделил два зубца от чесночной головки, очистил, поддел на вилку пласт огурца и положил на кусок хлеба, разгладил пальцем, чтоб огурец не топорщился.

Тимоша всё и всегда делает красиво, эстетично, рационально.

Содержимое графина заметно убавилось.

- За то, чтобы пльвуна не было, - поднял стакан Тимофей.

- Давай, вздрогни! - сочувственно поддержал тост Ярослав Кузьмич.

Вот таким способом, по горячему следу, было приступлено к обмыванию котлована на мелькомбинате.

Деньги от директора мелькомбината Вертулы Ярослава Кузьмича Тимофей получил раньше. Из рук в руки.

Я от Ираиды был в курсе того, что инициированное только сейчас на комбинате необходимое действие продолжится в другом составе и у них дома, Загорная улица, 32, квартира 4.

В подобных ритуалах в обществе руководителей промышленных предприятий я раньше не участвовал. Ощущение лёгкого опьянения не то, чтобы понравилось, но как-то успокоило. Расстройство насчёт пока не выполненного оперативного задания исчезало.

В конце концов разве борьба за получение переходящего красного знамени не есть достойный ответ на решения Двадцатого съезда КПСС?.. Нужно только увязать одно с другим, и редакция примет безоговорочно.

Всё равно текст отзыва, полученного мною из уст этого безусловно значительного человека, дополненный и поправленный в редакции с моих слов заведомо комсомольской жизни Германом Добросклоновым, уйдёт на машинку и будет опубликован в актуальном разделе откликов читателей на Двадцатый съезд Коммунистической партии Советского Союза.

Глава четвёртая, ретроспективная. Тропа Тимофея. 1949 – 1953.

Антиквар А. Ф. Буторин

Это был с детства знакомый Тимофею кусок города – именно тот, где, на другой стороне упираясь в речку, заканчивается переулочек Батенькова и сразу после мостика и небольшого, в мягкой пыли, зигзага, начинается Аптекарский. На площадке этого зигзажка, как он ни мал, помещались сразу два питейных места: магазин-каменушка и голубок-забегаловка. Впрочем, и каменушек, и голубков по городу, коли поищешь, вдоволь наспотыкаешься.

Неподалёку – переулочек Кононова, тихий, с шелестящими, сладко пахнущими тополями, с отдалённой вечерней гитарой. Сколько здесь хожено, стояно, на лавочках сижено!.. Попасть на Кононовский можно с большого Каменного моста, а можно и с малого Аптекарского.

Если же не дойти до Кононовского, то там, где проулки близ Аптекарского мостика сплелись в тесноватый клубище, в архитектурной вязи этакой, на зигзаночке между двумя источниками влаги живой, – не проскочить бы занятому человеку начала Заливной улицы. А то ноги-то, в силу давней инерции, сами на Кононовский вынесут, прямо под дорогие окна. Делать же там решительно нечего. Милых сердцу людей нет – разъехались.

Потому прямо с Аптекарского переулочка – на Заливную улицу!

Здесь, по левую руку, седьмой дом от угла, жила старая женщина без определённых занятий, по слухам причастная к некоторой, не одобряемой, но терпимой властью секте, и сильно, как говорят, тугая на ухо. И зажимала, упрятав от мира, ценнейшее нотное собрание. А. Ф. Буторин рассказал об этом Тимофею под большим секретом и притушив голос.

Правое, утопленное в глазнице око Буторина, казалось, из-под пенсне грозило вам и ещё кому-то. Но знакомые не боялись буторинского правого глаза. Око было не глаз, а протез.

Буторин – человек жирноватый, лобастый, несущий на лице уродливые шрамы (следы от недолеченной болезни в позолоченном детстве), телесной фактурой мелковат, одет в лыжные брюки и засаленный, с чужого плеча френчик, похоже, что без белья, – говорил обычно, держа голову наклонённой к правому плечу. Смачные, большие, с выступающей слюной губы его, когда Буторин замолкал (чего ещё надо было терпеливо дожидаться), оставались выжидательно полукруглыми.

А. Ф. не посоветовал Тимофею связываться. Почти что наверняка из старушечки ни хрена не вытянешь. Такие скупердяйки способны пухнуть с голода, сидя на золотой куче, – тип Гобсека. Может, она и не пухнет, но уж на куче определённо сидит – если не из чистого золота, то из сотенных бумаг – точно. К тому же ходит в секту. Они же людей впутывают в свои шашни, что при наших предприятиях дело вдвойне опасное, в два счёта влипнешь в историю. Приедет за тобой карета известной помощи, а откуда беда грянула, не вдруг догадаешься. Положим, там объяснят, да лучше не надо...

Мало разве стукачей? Везде полно, и мы, книжники, не есть исключение. Около денег ходим, завистники тоже рядышком... Так что я не говорил, а ты не слышал. Понятно? И делай сам выводы, какие можешь... Удастся кое-кого расколоть, постарайся не забывать товарищей, дающих совет в трудную минуту.

Минута у Тимофея тогда как раз была не самая трудная, а так себе, случались похуже и пострашней. Однако Буторина он не поправил. Буторина надо всегда дослушивать до конца,

оборотистому, дошлому Буторину – верить. Крайней своей расчётливостью в спекуляциях, скарденностью, наличием обширных связей тёртый калач А.Ф. сумел выделиться даже в довольно спаянной среде местных букинистов – людей эрудированных, циничных, неуступчиво властных, вьедливых, цепких. Буторинский нюх можно уподобить особому чутью искателей подземных водоёмов, что бродят с безотказными волшебными палочками, - ищут удачных мест для рытья колодцев.

Ибо он неисповедимым образом визнавал все дома в городе, где имелись запасы, сколько-нибудь интересные для ловца книжных ценностей, с их этажерками, шкафами, чердаками, сараями, антресолями, чуланами.

И был он вхож, словно к себе домой, в городские государственные книгохранилища, и, странно, там ему доверяли безоговорочно. И ни единого раза не попадался А. Ф. на вульгарном воровстве, а напротив, если открывались ему на книжном рынке кем-то сворованные в библиотеках экземпляры, то Буторин из кожи лез, но умудрялся возвращать их настоящим хозяевам. За мзду, естественно.

Знания его выглядели беспредельными. Почтенные профессора могли получить у незаменимого А. Ф. необходимую справку. Шустрые аспиранты, наживая одышку, рыскали по городским закоулкам в поисках знатока, когда им приспичивало. Немудрено: Буторин редко подолгу базировался под какой-нибудь одной крышей.

Словом, Тимофей был уверен, что практически весь известный книжный фонд города, десятки, если не сотни тысяч томов, держала в каталогизированном виде необъятная память Буторина.

И когда такой вот искущённый тип рассказывал о своих находках и открытиях другому волку, то было ясно, что не для красного словца, а единственно потому, что сам, должно быть, бил клины, да получил от ворот разворот.

Впрочем, причина, возможно, была в том, что с некоторой поры незакатная звезда Александра Фёдоровича Буторина начала меркнуть. Кстати сказать, имя и отчество его совпадали с реквизитными данными безвозвратно осмеянного в Советском Союзе, беглого (в платье медсестры, как достоверно рассказано в учебниках истории СССР) главы Временного правительства и, отчасти по этому обстоятельству, отчасти же за многоречивость и 1917-й год рождения, имел он прозвище *Керёнский* (с ударением на вторую «е»).

О том, что в лице Тимофея он получил талантливую (и потому успешную) конкурента-соперника, А. Ф. сообразил раньше многих. За извитые лучики сорвал с небосвода звезду Буторина беспардонный шпанёныш Тимочка, швырнул её на асфальт, где она, скатившись в лужу, дотлевала жалкой гнилушкой. А сам, для разминки, бодро прошедшись по букинистике старого университетского города, по антиквариату (какое-то время безнадзорному, бесприютному, совершенно открытому – бери, кто хочешь, владей, торгуй), враз выудил такие перлы, что прямо сейчас вези на толкучки, хоть в столицу нашей Родины город-герой Москву, хоть в Одессу-маму или в Ростов-папу, хоть в город Революции славный Питер-град, либо в Казань. Считанные ведь точки-то во всём нашем необъятном Союзе и есть, где ещё сохранился достойный приобретатель такого товара, а то и нарождается новый.

А было смутное, тревожное послевоенное время – вторая половина сороковых и начало пятидесятых годов. Во-первых, многие книжники не вернулись с полей сражений, а оставленная ими родня не знала, как прокормиться. Во-вторых, в стране скорой поступью разворачивались грозные атаки на интеллигенцию. Постоянно возникали поводы для преследования, а то и внезапно провозглашались *вражескими* какие-то группы: безродные космополиты, заскорузлые эстеты, интеллигентствующие низкопоклонники или (хрен редьки не слаще) простые, без дополнительного эпитета низкопоклонствующие интеллигенты.

Обо всей такой нечисти прежде и слыхом не слыхали, а тут вдруг оказывалось, что в это решето попал твой сосед, или университетский учитель, или уважаемый доктор, спасавший жизнь твоему ребенку. Вот человек, ещё вчера пользовавшийся уважением и авторитетом, нынче внезапно оказывается уже в чёрном списке, опубликован в газетном фельетоне, в разгромной статье, что означает как минимум увольнение с работы, а как максимум и вовсе ночной арест с исчезновением из действительности...

Никто не знал, когда и чем это кончится.

И кончится ли вообще, а не начнётся снова да ладом.

Число родственников, остающихся на свободе, но изгоняемых с работы, а потому голодающих и, следовательно, стремящихся хоть как-то прожить, растёт. Естественно, от чего избавляются? От имущества, мало-мальски ценимого перекупщиками. Тут за бесценок продаются дома и половинки домов. Идут в расход различные вещи. Оказывается на базаре годная ещё одежонка, почему-то вдруг ставшая ненужной. Пострадавшие втихаря освобождаются от старинной мебели, от роялей и пианино, от настенных часов и красивой посуды. Не говоря уж о золоте, серебре, бриллиантах, разных камушках. Про драгоценности вслух не вспоминают ещё с затуманенных забвением, ныне почти неправдоподобных времён торгсина, да не все же и при нэпе нищали, и после, кое-что приберегалось – и вот сгодилось ныне на чёрный день.

Государство на нелегальную барахолку посягало, конечно. Руки у государства длинные, но всё равно сюда, в тёмные уголки, не всегда дотягивались.

А. Ф., шибко не раскрываясь, рисковал, а Тимофей на крупные сокровища, вроде коле и золотых серёжек, не покушался, ума хватало. Книги почитались ценностями второго и третьего ряда. Но деньги, иной раз весьма солидные, и возле книг вертелись и проворачивались.

Валюта наказуема, как неотъемлемая собственность государства, и нам, посторонним, тут ничего, кроме серьёзных неприятностей, совсем не светит...

Перекупщики занимались делами, не приветствуемыми советской властью, потому свои деяния не афишировали. Потенциальные продавцы и подавно старались держать языки глубоко за зубами. Были случаи: человека ловили за книгу *с ятями*. Всего и беды-то вроде бы, но опытный деятель так не думает. Поймайся только на предмете дореволюционного происхождения, скажут: «Ах ты, жук, за старорежимное держишься!» – и тут тебе опять же крышка.

Учреждения с много лет собиравшимися библиотеками после увольнения или, того хуже, ареста руководителя получали директивы и, следуя тому, поспешно занимались массовыми списаниями литературы, печи докрасна раскалялись, бумажный пепел ночами, отстучав по сердцу, упрятывался в пакеты и тайком уносился на отдалённые помойки.

Опустевшие полки насыщались медицинскими изданиями, но в первую очередь, естественно, массивными скоплениями свежееотпечатанного тиража «Краткого курса истории ВКПб» (подписано в печать 19 июня 1953 г. с матриц издания 1945 г., объявленный тираж 1 050 тыс. экз.), а также брошюрами, где комментируются классические работы вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина и его верного ученика и соратника, гениального вождя и учителя советского народа товарища Сталина – и брошюрами на другие темы, созданными в недрах Всесоюзного Общества политических и научных знаний (в серо-голубых бумажных обложках), и, наконец, – в гораздо меньшей степени – произведениями проверенного, тщательно отсепарованного и рекомендованного массовому читателю *худлита*.

Понижение весомой значимости месье Буторина среди *барыжек* подпольного книжного рынка началось тогда, когда он, король, безнадежно проморгал, и Тимофей прямо из-под носа у него увёл приготовленную к отправке на свалку библиотеку Онкологического института. За полтора часа, при прямом содействии испытавших облегчение от его помощи библиотекарей, убедив их в том, что увезёт книги не на свалку, где власти могут до них, проштампованных печатью учреждения, докопаться, а в кочегарку большой котельной, он выгреб содержимое четырёх старинных вместительных шкафов.

Александр Фёдорович прискочил к шапочному разбору, торопился так, что думал, сердце выпрыгнет, спина взмокла, хоть выжимай, но увидел лишь несколько современных медицинских и политических брошюр, небрежно брошенных на пол. Горько сделалось А. Ф. Буторину: сломалось не только одно это дело – оборвалась целая цепочка вытекающих отсюда гешефтов. Отныне, Буторин, ходи да оглядывайся, ни в одной комбинации нельзя быть уверенным из-за этого стриженного шаромыжника, которого опытные коллеги-книгоискатели старшего поколения – и пан Полушалко, и престарелый книгоед-книгочитатель Теодор Файбышенков, и романтический собиратель поэзии Геник Языков, и хищная курильщица, тщательно, скрывающая своё дворянское происхождение Генриетта Вадимовна Паренаго, и сам вездесущий Буторин-Керенский – долго не

опасались (на свою беду), считая мальчишку не новым самозванным королевичем, а в лучшем случае дилетантом, любителем. Да поздно спохватились, голубчики.

И чуть не заплакал Буторин, когда глядел на бумажную обложку сочинения Вильгельма Вундта «Основы физиологической психологии, выпуск первый» (в русском переводе). Напечатано по старой орфографии, с *фитами и ятями*, в рассчитанной на массового читателя серии – в «Дешёвой библиотеке». По заголовку «Лекций о душе человека и животных» на нежно-зелёном фоне обложки чётко, рубчатым рисунком отпечатался наглый башмак победителя.

Буторин поднял книжку. Рукавом долго оттирал лёгшую пыль. Явился к Тимофею, молча подал ему находку, выпавшую из общего комплекта. Тимофей поступил благородно: вытащил остальные выпуски психолога Вундта – среди сочинений этого последователя Спинозы и Канта были и его «Психология народов», и «Этика», и другое. Всё в русском переводе. Тимка и раньше в этого философа заглядывал – Буторин, вероятно, тоже.

Тимофей расставался с Вундтом, сожалея, однако с пониманием деловой стороны своей щедрости: ради дружбы случается иной раз идти на некоторые потери. Для милого дружка серёжку из ушка, как говорится.

Он аккуратно сложил Вундта в стопку, прочно связал бечёвкой:

- Берите, Александр Фёдорович. На добрую память.

- А ты, брат, великодушен. Ничего, я и не такую ерунду сбывал, как этот никому не нужный Вилька Вундт. Всегда найдутся простаки, что и за такое барахольце хорошо заплатят.

Так, с простительной фамильярностью изъяснялся в ту пору А. Ф. Буторин.

- Коллекционная же вещь, - хвалил подарок Тимофей.

- Не у нас в городе продам, так можно передать московским, одесским, питерским букинистам. На худой конец в Ростов-на-Дону или в Казань отправить, там у меня тоже связи есть.

- Вам, Александр Фёдорович, надо позавидовать – у вас повсюду связи.

- С годами и ты наработаешь. Если не бросишь наше ремесло.

- Возьмите ещё что-нибудь, Александр Фёдорович. Берите, сколько можете унести на себе...

Несколько часов они оба, словно два неразлучных братика, перебирали сокровища, изъятые из четырех онкологических шкафов и ставшие товаром. После чего Тимофей, как водится, напоил Буторина до положения риз, вложил ему в недырявый карман чекушку беленькой и, окосевшего, отбуксировал домой.

А на следующий день, встретясь на улице, неплохо отоспавшийся А. Ф. в порядке взаимобмена передал Тимофею адрес старухи. Поторговались о комиссионных, которые Тимофей, как человек порядочный, непременно заплатит.

Опохмел Буторина происходил за счёт Тимофея.

...Ах, добрые, старые времена букинистического рая! Куда вы пропали? И кто бы о вас помнил? И кому они нужны, древние коллекционные книги, на галактических рынках 2000-х годов от Р. Х., в эпоху социальных сетей и компактной электронной литературы, записанной на портативных, походного формата и с необозримо ёмкой памятью смартфонах и флешках?..

Ради расширения собственного кругозора, спросите-ка у кого-нибудь из нынешних психологов, психотерапевтов или психиатров, осведомлены ли они о трудах Вильгельма Макса Вундта, жившего с 1832 по 1920 годы, обучавшего в клиниках Гейдельберга и Лейпцига вместе с другими иностранными аспирантами и русских врачей. Не стану предвосхищать ответа специалистов, тем более обижать кого-либо из уважаемых коллег. Подготовлены они и сегодня в большинстве неплохо...

Другие времена, другие кумиры.

А тем не менее ведь весьма любопытно рассказывал упомянутый продолжатель Спинозы и Канта, в частности, и о психологии толпы и личности.

И отменным, классическим языком его переводили на русский.

И всё ушло, и всё забыто, и всё словно открывается заново.

Что делать? Нынче и рынки не те пошли.

Старушки Митревна с Власьевной

Домишко на Заливной, низенький и невзрачный, будто мышонок серенький, припадал к земле, едва не скребя по ней краями двускатной крыши. Мелкие окошки стояли через полтора бревна от земли: снизу дом подбивал домовый гриб, гроза деревянных строений. Судьба окошек представлялась вполне себе ясной: они вырастут в землю.

В сенках, в несвежей сугеми высоковатый для таких покоев Тимофей чуть шишку не набил себе и, сердитый, прошёл внутрь. Тут он снова запнулся – уже не о порог, а о чьи-то валенки. Они были обращены к выходу, надеты на ноги и дырявы.

Ноги съёжились. И тут же раздался крик:

- Ишь, разлеглась, как корова, сколь говорить можно! Дай человеку пройти!

- Ну и ну, ребятишки, тесно в теремочке живёте, - с порога поприветствовал Тимофей. И, не проходя, принялся оглядываться.

Справа от порога стоял табурет, на нём стакан и ложечка. В стаканчике мокла в воде перегоревшая чёрная корочка. А ближе к дверному косяку на свёрнутом многократно, ни разу, похоже, не стиранном одеяльце лежало некое скомканное временем существо. Безбородый гномик, старушечка. Это, разумеется, не могло быть хозяйкой. Оно и не было.

Хозяйка сидела за столом, чуть повернув к двери большую, твёрдой посадки, чёрным платком покрытую голову. Перед нею стояла глубокая миска с крупными, хорошо прожаренными семечками, которые она грызла. Эта старуха выглядела крепкой, и зубки, видать, не утратила. Выговорив гномику замечание, она продолжала брать семечки и быстро-быстро их расщёлкивала. Шелуха сплошным потоком летела на стол.

В комнате, кроме некрашеного стола, за которым восседала хозяйка, были четыре венских стула, крытая серым солдатским одеялом кровать со многими подушками и подушечками, комод, косо стоящий на кривом от проседания дома полу. Углы были пустые, предметов религиозного культа никаких – ни икон, ни лампадок. Так что, если они сектанты, то, наверное, такую бессодержательность тем и объяснить можно.

Слева, за дверным проёмом (без двери) обозначилась клетушка, в ней рукомойник, крохотный кухонный столик и полка с кастрюлями и банками.

Справа – такой же точно проём без двери, только затянутый серой занавеской.

В главной комнате было относительно чисто. На комодке понуро застыл караванчик из семи жёлтых мраморных слоников. Там же стояла в рамке фотография молодой женщины с гладкой короткой причёской, какие были в моде перед войной. Тут же лежала изрядной толщины книжица в плотном клеёноччатом переплёте, Тимофей подобную вещь уже встречал: листы спрессованы, бумага тончайшая, шрифт петит, специальная библия для баптистов, русское Лейпцигское издание 1923 года. Буторин за подобной литературой шибко охотится.

Намечалась первая трудность: бабка непьющая. И вот баланс: не пьёт – раз, вроде бы и не слышит – два, держит человека – живого всё-таки! - на подстилке под дверью – три. Задача: с какого бока подступиться к нотам? Уравнение со многими неизвестными. А решать всё равно надо. И без волокиты.

И Тимка, будто получил любезное приглашение, уверенно двинулся к столу, сел на венский стул и стал в упор разглядывать хозяйку. А та глаз от миски с семечками не отрывает. Вот так бабулька, вот так избушка на курьих ножках!

- Здравствуйте, уважаемая! - наклоняется Тимка и кричит ей в самое ухо. - Идёт молва, что у вас квартира сдаётся. Смотреть пришёл.

Старуха повела головой от плеча к плечу: не слышу, мол. Ну и шут с тобой, Валькирия доморошенная! Сам разберусь. Чтобы только потом жалоб не было. Прежде чем снять квартиру, имеет же человек право с ней познакомиться.

Тимофей поднялся, шагнул вдоль фанерной перегородки, рванул прикреплённую к ней занавеску, сорвал нечаянно и улез по плечи в клетушку. На койке тихо сидел парень, очень худой, с учебником в руках, и во все глаза глядел на Тимку. Глаза коричневые, не слишком большие, но в них такой блеск, такая глубина, что даже оробел Тимофей. И парень смутился. Лицо его быстро

краснело: нос, крупный, кривой, как турецкий ятаган, уши, торчащие от стриженной головы далеко в стороны.

- Здорово, - не выдержав, первым сказал он. И посоветовал: - Напиши по-печатному, она прочтёт.

Тимка окончательно проник в клетушку, назвался:

- Меня, между прочим, зовут Тимофей.

- Я Юрка.

Тимофей крепко сжал горячую его ладонь.

- Ты живёшь в этой развалюхе?

- Дело сложное. Смотря по тому, как примут, но всё может случиться.

- Слушай, а что за странная личность, обитающая возле порога?

- Подробно не скажу: я сам здесь недавно. Тётка, уезжая, оставила меня в комнате на Пионерском переулке. Четырнадцать метров. А у соседки – четверо на девяти. Понятно? Пока тётка была здесь, соседка молчала. А как тётя уехала, соседка начала петь: «Где справедливость? Юрка один, как граф, на четырнадцати метрах, а мы четверо друг у друга на шее – на девяти...» Я тоже подумал: где справедливость? Отдал ключ – лишь бы шума не было. Соседка на радостях меня привела сюда и здесь оставила.

- Знает ли тётка, что ты бросил её комнату и поселился в этой конуре?

- Нашёл дурака! Чтоб я ей писал? Тётю Нюсю моментально хватит удар! Не всё ли ей равно? Ей-то уже больше никогда здесь жить не придётся. Кого из-под Москвы сюда заманишь?

- Москва ни при чём. Мне, например, никакой Москвы не нужно. Здесь родился, здесь живу, здесь и умирать собираюсь. В родном доме и стены греют. Без родимой почвы цветок чахнет и гибнет...

- У тебя так, у других иначе...

- Много ли, Юра, старухе платишь?

- Сотнягу в месяц отваливаю. Вернее, должен отвалить. Пока что живу на те, что за меня заплатили при обмене.

- Из чего думаешь платить дальше? Есть у тебя источники дохода?

- Я не буржуй. Доход, источники... Я, может, завтра умру. Чем платить за квартиру – тетя пришлёт.

- А та, что у двери лежит, тоже платит?

- Митревна? Что ты, откуда у неё деньги?

- Расскажи, что о них обеих знаешь? Мне подступиться надо. Для одного дела.

При близком знакомстве Юрий оказался не таким уж затравленным и несчастным. За месяц он и сам кое что узнал, да и прежняя соседка не оставила его в неизвестности насчёт квартирной хозяйки.

Как большинство домов города, и этот, на Заливной, имел свои, только ему присущие предания.

До того, как его принялся сживать со свету домовый гриб, был дом, как дом, высокий и правильно сложенный, просторный, его прежнее устройство было достаточно далеко от теперешней развалюхи с проваленными полами. Митревна лежала тут целыми днями у порожка на подстилочке и снизу вверх глядела на всё, что внутри дома делается. Денег с Митревны не брали.

- Из милости держу, - говаривала Власьевна.

Митревна жила, можно сказать, на положении, близком к военному. Но ведь и из казармы отлучаться бывает позволено. Раз в год, на Пасху, субтильное, сморщенное существо, имени и фамилии которого никто не знал, только отчество, получало разрешение подняться от порога и прогуляться собственными ногами за четыре квартала до церкви, побывать на службе и тем же путём вернуться обратно. Власьевна не одобряла веру Митревны, но Митревна, букашка, раздавленная жизнью, не поддавалась, от своего права молиться не отказывалась. Ежегодное путешествие поглощало все остающиеся у неё силы, и к своей подстилке Митревна добиралась уже утрами.

Власьева ворчала:

- Гулёна! Повадила я тебя, ни дня, ни ночи не знаешь. Дрянная ты старушончишка!

Но ничего, отходит, не прогоняет. Да и некуда. И продолжает Митревна глядеть-поглядывать с пола. В её кругозоре – угол печи, люди до колен, плинтус на перегородке, что напротив, кошка Гутя и пёс Шавка.

С Шавкой Митревне – беда. Другой такой чумовой собаки поискать! Никак не хочет лакать из своей миски, всё почему-то к Митревне в чашку лезет. Даже когда чашка стоит на табуретке. Власьева другой раз не нальёт: не убереглась, старушончишка, кто же тебе виноват? Уж как Митревна Шавку ни уговаривает, как ни улещивает, буянит противный пёсчишко.

Пёс Шавка, хотя и хитрый – в хозяйском-то помещении шкодить избегает, но нет-нет да сорвётся от весёлого сердца, набедокурит. Власьева тогда кричит, руками машет, может и прибить – возможно, валенком кинет в Шавочку. Гневается.

А тут и Митревне допустимо от порога голос подать.

- Ты, Шавчишка, разбойник, право слово, разбойник и есть, анафема! Давеча мне суп разлил, прости господи.

Так вот душу отведёт. И стукнула бы, кажется, вредное животное, чтоб не нахальничало, да боязно: Власьева вступится, про все шавкины пакости забудет, на Митревну навалится.

И она молит:

- Ты, Шавочка, полегче, миленький, ты полегче...

Власьева на Юркины рассказы никак не отзывается. Оттого он голос не понижает. Хозяйка, видно, и впрямь глухая тетеря, не притворствует.

- А всё могло быть наоборот. Настоящая, законная хозяйка дома была Митревна. Но Власьева её съела и уложила под порог на тряпочку.

- Легко представить. Как пишет тот же психолог Вильгельм Вундт, мозг живёт дольше всего. Все человеческое уже отмирает, функции теряются, но человек ещё жив, и мозг, если он не разрушен физически, действует и выполняет свою работу.

...Порою мечтается у порога. Чаще всего летом, от дверей не несёт холодом, а по дому распространяются смутительные запахи от картошки, которую Власьева размешивает широким ножом в глубокой сковородке. И в дымном и чадном мареве вспоминаются дни, когда Митревна полновластной хозяйкой ступала по целому, не затронутому гниением полу, и муж был жив, и он дом их купил и перестроил, а молоденькая, разбитная квартирантка Власьева была здесь на месте прислуги. Потом война унесла мужа, Митревна занедужила, и Власьева понемногу переписала на себя половину дома, потом и весь целиком, и оттягала дом по суду, а Митревну, в больнице чудом выбравшуюся с того света, допустила жить у порога. Кто теперь поверит в прежнюю действительность? Уж и люди те, что видели злые тяжбы, давно в земле, а другие об ином заботятся.

- Да, Юрка, милый, ну и дела творятся на Заливной улице. Скажи, пожалуйста, кто-нибудь ещё в теремочке живёт? Вторая половина кем занята?

- Вторая у неё в ремонте, да денег не наскребёт никак, чтобы хоть приступить. Квартирантов не пускает, а ждёт у моря погоды.

- Считай, дождалась. Не золотое дно, естественно, но немного деньжат подкинем. Не будет ерепениться и сквалыжничать – так, может быть, и на ремонт получит. Хочу у нее ноты купить. Слух прошёл, будто заимела в войну большое собрание и теперь сидит на нём, как собака на сене.

- Или как наседка на яйцах.

- Скажи, пожалуйста, - из проживающих под сею крышей кто у нас ещё есть?

- Приблудилась маленькая девочка Глашка, шестнадцать лет, а выглядит на одиннадцать. И умишко такой же, крохотный. Власьева её за собой таскает – в молитвенный дом, тот, сектантский, на Акимовской - знаешь?

- Да. И проповедника довелось узнать. Ничего себе дядя – плотный, в больших очках, похож на учителя физики. Производит солидное впечатление. Такие люди водку пьют здорово – тянет, тянет, а у самого ни в одном глазу. Но религия запрещает глушить водяру. Хорошо бы его в пьющий мир перетащить, человек был бы полезный. Здесь, на Заливной он бывает?

- При мне не был ни разу. Власьева для него мелкая сошка. Вот староста ихний Николай Иванович заходит. Сидит часами, унылый, нудный, любит пить чай из блюдца, вприкуску. Ко всем подъезжает.

- К кому – ко всем? К тебе подъезжал?

- Пробовал, но потянул бороду. Мне учиться надо, а не у него в домике посиживать, петь псалмы. Зато Глашку прижали по всем правилам. Ей податься некуда, родни нет...

- Тебе, похоже, тоже не особенно есть куда податься?

- А мне не надо.

- Почему?

- Я и так проживу. - И прервал дальнейшие расспросы. - Понятно?

Мать Глашки тоже была с *этими*, умерла. *Свои* похоронили, а сироту толкнули к Власьевне, вроде доброе дело сделали. А она здесь вкалывает как ломовая лошадь. Дом – Глашка, огород – Глашка. За одни харчи, а с тех харчей не закудахтаешь.

- Спит на полу, как Митревна? И сейчас она где? А то не слышать, не видеть.

- Там. - Юра махнул рукой в сторону перегородки.

Тимофей подумал про те валенки, что увидел в закутке с утварью. И, сильный, статный, в отглаженном костюме, с галстуком, громкоголосый и взрослый, встал, заходил, наконец, по дому. Уверенный, будто здесь родился. Власьева, обычно подозрительная, как крыса, за весь его визит и ухом не повела. Гипнозом, что ли, владел Тимофей?

В кухонном чуланчике, среди утвари и набросанного ворохами тряпья, торчали подшитые Глашкины валенки. Девчонка лежала в них на приземистом сундучке, забитая маленькая Козетта. Мордочка с кулачок, веснушки, влажный, островатый носик, затравленные глазки, на Тимку глядят, словно на глыбу каменную, которая вот-вот упадёт и раздавит. Пожалей меня, дяденька, не тронь, и больно не сделай!..

Что за люди, Бог мой, что за люди! Замороженные!.. Но Тимка Воронов не странствующий рыцарь Ланселот, что запросто вызволяет от злодейских козней заколдованных красавиц. Да и красавицы вряд ли такие бывают.

- Здравствуй, девочка, - сказал Тимофей. Она часто заморгала и не ответила. - Что же ты молчишь, милая? Я не волк, тебя не скушаю. Ладно. Не хочешь ты, я найду, с кем поговорить. Слушай, Юра, милый, в этом заколдованном доме я не вижу ничего напечатанного типографским способом и современным шрифтом.

- Вот учебники для девятого: алгебра, литература, история. Для восьмого выбросил.

Тимофей сидел на Юриной койке.

- Учебники зря выбрасываешь.

- Зачем барахло хранить?

- Хранить барахло, особенно если ведёшь кочевой образ жизни, конечно, большая роскошь. Но могут пригодиться на обмен с кем-нибудь... Ты, стало быть, в девятом.

- Да.

- С какого же ты года?

- Мне в январе семнадцать исполнится.

- По виду сказать – тоже, Юра, неважно выглядишь. Мне вот сколько, ты думаешь, лет?

- Двадцать четыре?

- Нет.

- Двадцать шесть.

- Все ошибаются. А мне, почти как и тебе, всего восемнадцать. Угадал родиться 21 декабря, тогда же, когда товарищ Сталин. Ему вот исполнилось семьдесят, а мне восемнадцать. Никто не верит, что мне так мало лет. Я уже в четырнадцать выглядел, как сейчас. Просто обстоятельства складываются так, а не иначе. Что с ними поделаешь, с обстоятельствами?

- Ты, Тимка, тоже в девятом?

- Мне, Юра, некогда в обычной школе учиться. Парадокс: времени свободного хоть отбавляй, а школу посещать некогда. Но так только кажется. Времени жить всегда не хватает.

- Совсем бросил учиться?

- Есть такая замечательная заочная школа – удобное место для самостоятельных людей. Экзамены сдают экстерном, не проходя курса, как в обычной школе. Подготовился, пришёл, сдал предмет, потом хоть пять лет не приходи, а хочешь – в тот же день иди сдавать следующий. Я сдавал трижды – в год по разу, как бы восходя по ступенькам: вначале за четыре класса, в другой раз за семилетку, в прошлом году сдал за десять и получил аттестат. С одиннадцати лет ни дня не сидел за партой в так называемой нормальной школе. Теперь год отдыхаю. Нанимался к геологам, рубил лес, косил крестьянам сено. Самообразование: книги, музыка.

Тимка долго на одном месте не сидел: вскакивал, ходил, голова с гладко зачёсанными волосами гордо закинута, резко очерченные ноздри отдувались при дыхании, выпуклые, пронзительной синевы глаза поблескивали, голос, густой и крепкий, наполнял весь домишко.

- Юрка, милый, что ты на меня смотришь, как на марсианина! Не гляди так. Мне неловко, когда на меня *так* смотрят. Мысли у меня самые земные. Я перепробовал несколько профессий, но главная - музыкальная. В семье все музыканты. И я такой вырос. Коллекционером осмеливаюсь считать себя тоже. Не знаю, чего во мне больше. Сложная выходит пропорция. Подхожу к главному. Вон сколько понадобилось слов, чтобы связно объясниться. Не сердись на многословие, я сам болтунов не люблю. Но надо же, чтобы человек понял. В данный момент мне, во что бы то стало, необходимо пополнить свой нотный запас.

- Зачем?

- Получается чепуха. Люди идут ко мне специально, чтобы послушать хорошую музыку. Они надеются, что я смогу всегда угостить свежатинкой. Краснеть мне перед ними? Я, Юрка, не такой человек. Но положение моё плохое. Кроме нескольких классических вещей да десятка простеньких современных пьесок в моей квартире ничего нет.

- Надо, чтоб было. Всё понимаю, кроме одного. Причём тут старуха Власьевна, далёкая от музыки, как Луна от Марса?

- Ещё не догадался? Я о тебе лучше думал. Умный парень, а задаёшь такие вопросы. Один перекупщик прознал, что у твоей Власьевны откуда-то появилась уйма нотной литературы. Целый завал. Не одна, не две партитуры, а полная библиотека. Ну и вот, в такой дыре подобным коллекциям делать нечего. Будем изымать любой ценой. Сколько денег ни истратишь за покупку, выручишь многократно. Дошло?

- Дошло. Думаешь, она легко расстанется с ценными вещами?

- Ценность относительная. Что для меня необходимо, как воздух, другому человеку может показаться мусорной корзиной, если не просто мусором, без корзины. Я уже стал разрабатывать сложный вариант – снять у старухи для начала угол, фиктивно поселиться и начать действовать, а тут вдруг ты появляешься на сцене. Надеюсь, поможешь?

- Гроби у тебя есть?

- Сколько понадобится, найду.

- За деньги она, тварь, чечётку спляшет.

- А я сомневался. Думаю, сектантка, мозги набекрень, упрётся рогами в землю, не вытащишь. Прежде чем перейти к реальной купле-продаже, нужно её обойти как-то. Ко всякой женщине свой подход.

- А ты напрямую – сунь ей денег, как следует. Цены ты примерно знаешь. Пиши!

Юрий выдрал из тетради двойной лист. И огромными печатными буквами Тимофей написал: *«Знаю человека – купит ноты. Цену даст хорошую».*

Юрий по столу толкнул бумагу Власьевне. Она прочла, но продолжала молча грызть семечки. Тимка начинал приноравливаться к её манере с немалой выдержкой ждать, что будет дальше. Юра с ней не стал церемониться. Резко схватил за рукав, дёрнул. Повёл пальцем по буквам объявления.

И вот старуха заговорила – низким, почти мужским голосом:

- Нету нотов.

- Врёт, - сказал Юра. И дописал: *«Денег будет много»*.

Между тем Тимофей вытащил из кармана пачку денег, толстую, словно хорошая книжка, и, как фокусник, принялся их тасовать. Юрий никогда не видел столько денег разом, Власьева, видимо, тоже. Она неотрывно глядела на быстрые, белые, музыкальные Тимкины руки.

Тимка перестал фокусничать. Аккуратненько собрал пачку. И медленно, с хорошим чувством загрузил деньгами внутренний карман пиджака.

Власьева поднялась мгновенно, без слов, выбралась из-за стола. Она была рослая, прямая, как бревно, с широкими, костистыми плечами.

- Гренадёрка, - похвалил Тимофей.

Как ни тесны хоромы, в них нашлось место и для не слишком большого сундука.

- Ларчик... - произнёс Тимофей и не захотел продолжить: не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.

Власьева прогнала Глашеньку одним словом:

- Слазь!

Девочка помешкала. Власьева грубо её толкнула:

- Слазь, говорят!

Глашенька и слезла. Старуха открыла сундук. Приказала:

- Рой!

И стал Тимофей рыть. Чихал от пыли.

- Дать платок? – спросил Юра.

- Дай, если есть.

Платок имелся.

И всё было запросто. И ничего более далёкого от здешней обстановки оба – и Тимофей, и Юрий – вообразить не могли. Тимофей бережно вытаскивал ценности, передавал Юрию, тот с осторожностью укладывал на полу в стопку.

Пока что все эти открытия с копылок не сбивали. Неплохо, конечно, враз получить такую коллекцию: курьёзы, классики, фокстрот «Гуд Ивнинг». Надо ещё покопаться, груз вытасчен едва ли до десятой части.

От пыли ребята кашляли. Тимофей под нос себе пробормотал:

- Тряпку бы сюда!

Ему не впервой было возиться с книжной продукцией, имеющей денежный эквивалент. Не раз видел пыльные углы, паутину, плесень. Здесь, к счастью, только пыль наслоилась.

Юра под порогом нашёл какую-то ветошь. Передал Тимке.

Власьева сидела у себя за столом, головы не поворачивала, молчала. Отчего-то доверяла Тимке и Юрию.

Убрав самые верхние слои, Тимофей невольно вскрикнул:

- Батюшки, клавиры! Ты, Юрка, милый, понимаешь ли, что такое фортепианные клавиры?

- Не очень понимаю.

В сундуке вперемишку были навалены толстые объёмы нотной классики – Гендель, Глюк, Моцарт, Бетховен, вальсы Шопена – старые издания, нотные тетради в сафьяновых папках с алыми шёлковыми тесёмками, с монографическим, выдавленным из золотистого металла вензелем «ФС» на крышках; бумажные брошюры с грифом «Дешёвая библиотека» 1910 года; книжки времён нэпа с обозначениями: «Магазины Просвещения», «Издательство Юргенсона»; Good evening, фокстрот; Издательство Н. В. Севастьянова, на обложке – томная дама нюхает алую розу, ах-ах...

- Расписанные детально программы исполнения. Потом объясню и растолкую. Смотри, оперы – Верди... Чайковский... Невероятно... У Верди 90 опер, из них 50 шли на русской сцене, а здесь раз, два, три... Держи и складывай отдельно... Так, 24 по моему счёту, у тебя столько же?

- Столько.

- Вагнер – «Лоэнгрин», «Тангейзер». Этому вообще цены нет! Вагнер у нас под запретом – империалист. Потому на чёрном рынке ого-го, как котируется. Под клавирами ещё кое-что было. Розовой ленточкой увязанная пачка, в ней Скрябин, Дебюсси, Равель. В пачке под другой розовой ленточкой собраны романсы: Прозоровский, Вертинский, Николай Марфетин, Оскар Осенин...

У Тимофея руки дрожали, лицо красное, сосредоточенный восторг.

- Хиндемит. Давно ищю что-либо из вещей этого композитора. Его разорванная гармония заставляет сердце биться будто в предчувствии мятежа. Так говорили в музыкальной школе, куда я ходил. Не то чтобы прошёл там курс в системе, но было у кого набраться знаний, поверь мне.

- Повезло тебе?

- Такая удача выпадает человеку разве что единожды за сто лет. Или того реже.

Тимофей, наконец, опустошил сундук, потрогал руками дно, постукал. Прошёлся ветошкой везде, где только возможно. Кажется, дно было одинарное, не двойное. В воздухе медленно оседала сухая пыль. Глашенька закашливалась. У Юрия першило в горле. Старуха похрипывала, но сидела неподвижно и напряжённо молчала. Ждала дальнейшего развития событий. Митревна у порога не кашляла: пыльные облака туда не долетали.

Ребята присели на Юркину кровать.

Власьевна вернулась к семечкам.

- Как считаешь, Юра, эта мумия египетская что-нибудь в нотах вообще-то петрит? Здесь чувствуется утончённый вкус и целевой выбор.

- Да ну, скажешь тоже! Да ни шиша она не петрит!

- Кто-то же собирал...

- Не то дочь, не то сестра. Музыкантка, играла в каком-то оркестре. Потом исчезла, перед войной или на самой войне. Не могу сказать. У Власьевны осталось это собрание нот, не знает, что с ним делать. Как твой друг пронюхал? Тоже уметь надо.

- У А. Ф. Буторина, который меня сюда направил, обоняние, как у рыси.

- А сама старуха всё это применить к делу не сможет.

Надвинулись сумерки, в доме быстро темнело. Голова Власьевны выростала до низко висевших потолочных балок, плечи раздавались вширь, и пенным валом летела прочь чёрная шелуха от неутомимых, сноровистых зубов старухи. И снова явились на свет толстенькой пачкой заветные сторублёвки в руках Тимофея. В полном безмолвии положил он один листок перед лицом Власьевны. У неё отвалилась челюсть, но, увидев, что Тимофей вроде не собирается разорять всю пачку, с презрением отвернулась от покупателя Власьевна.

- Ступай-ка, паря, своей дорогой. Сказано: чужого имущества не пожелай! Книги все Глашка обратно сложит. Глафира, ложі!

Глафира не двинулась, глядела, как заморожённая.

Тимофей вытянул из пачки вторую сотню. Аккуратно, Лениным кверху, накрыл нижнюю купюру. Расправил уголки, стоял выжидательно. Власьевна перестала грызть семечки. Оба напряжённо молчали. Тимофей определяет сверху первых двух третью сотенку. И четвёртую!.. Деньги немаленькие. Однако ещё и не последние в пачке... Быстрым движением ухватывает Тимофей старухину ладонь, укладывает на стопку денег. Пальцы, узластые, покрытые коричневатой кожей, с чёрными, отросшими ногтями царапают верхнюю бумагу. Но отходит ладонь – и отрицательно качает головой Власьевна. Заелась дурная бабуленция! И, манипулируя с пятой сотней, показывает Тимка Юрию запустевшую обложку от пачки.

Пятьсот рублей – ну куда ж ещё губки-то надуть?

Новое письмо: *«Согласны на 500? Больше не дам. И торговаться не стану. И никто другой сюда, как не приходил, так и приходит не будет. Дорогу всем перекрою».*

- Бери, бери!

Взяла.

Деньги проворно уложила в старомодный, потёртый ридикюль.

И все позиции вернулись в первоначальное состояние.

- Сделка состоялась, - комментировал Тимка. - Но я же не захватил с собой никакого мешка. Хотя Буторин предупреждал, что клад обширный, но кто мог подумать, что до такой степени? Отлучаться с пустыми руками даже ненадолго и по делу – рискованно. Буторин всегда начеку. Прискочит мигом – и то, что мы добыли в трудах и заботах, быстро перехватит. И наши деньги исчезнут, как не были.

- Ты много о Буторине говоришь. Вряд ли он того стоит... Да и как он узнает? Никто же отсюда, кроме тебя, не уйдёт.

- По воздуху. По голубиной почте. Если серьёзно, то мало ли что... Мешок нужен обязательно чистый. У тебя, случайно, нет? Не завалился как-то при переезде?

- Мешка нет, а есть две простыни. Белые, большие. Тётя Нюся, когда уезжала, оставила. Я к ним не прикасался. Посмотри. Может, сгодятся.

Из чемодана, стоявшего под койкой, Юра вынул обе простыни, действительно, большие и белые. На уголках – вышитые крупной синей ниткой таинственные инициалы «А.М.С».

- Монограмма? – спросил Тимофей. – Буквы вроде не твои: Ю - нет.

- Тётя Нюся вышивала. Анна Михайловна Солонцова.

У этого Тимофея масса разных слов, значение которых Юра знал нетвёрдо.

Что такое, например, *монограмма*. Надо поискать в словаре. Спросить – неудобно.

Сложили простыни так: край одной поверху краешка другой. На получившемся полотнище, словно спелёнутые смирительной рубахой, уплывут из дома на Заливной улице в квартиру на улице Загорной вселенские кочевники: Моцарт, Гендель и Глюк, и Скрябин, и фокстрот «Гуд Ивнинг», и клавиры, и всё остальное.

Власьева ни с того ни с сего вроде бы расщедрилась, принесла обрывок верёвки – связать узел, чтоб нести удобно. Тимофей ловко обвязал так, чтобы получилось подобие ручки.

Если бы единым разом всё это зазвучало, не было бы на земле места, где люди не слышали музыки! Подумать только...

Глава пятая. Тропа Тимофея. 1949 – 1952. Продолжение

Семья на Загорной

Извитую кольцами дорогу прокопала себе сквозь холмы главная городская речка. Весною и осенью она высоко подкатывает разлившиеся серые воды под улицы, подмывает прелые брёвна береговых домов и сараев. Хожены-перехожены, биты подошвами мосты через неё: и Каменный, и Деревянный, и Аптекарский, и те досчатые, ненадёжные сходенки, что кладутся на лето под скатом Петропавловской улицы, в глубинном городском захолустье, а по весне или осени, как сделается куриный ручеёк разлившимся потоком, то подхватит и унесёт на могучей спине и эти доски, переломав их, и заодно всякую древесную и прочую ненадобную, мусорную плавучую мелочь.

И дальше, сметая в проснувшуюся бурную Реку, из Реки в Обь до самого устья, поплывут древесные останки, достигая Северного Ледовитого океана, где попадут в горы плавника на побережьях и, возможно, удивят кого-то из рыбаков и охотников: спасибо добрым людям, чья весточка пришла и попала в ненасытные топки полярных кочегарок и временных мест для проживания людей.

А в следующем сезоне горкомхоз (частенько не без опоздания) новые мостки настелет. И так год за годом...

И всё баснословное величие Земного Шара без нашей речки представить немислимо. Тимофей Воронов вот не представляет. Никким образом.

Сейчас мостков под Петропавловской улицей нет – уже уплыли.

Главным же из всех мостов по справедливости считается Каменный. Прямо от его бетонных столбов с рострами, такими, как в Питере, но значительно скромнее размером, начинается Обруб – улочка, с одной стороны заставленная разной высоты домами, с другой – срывающаяся поросшим травую откосом прямо в речку. На углу, в створе Обруба, синий киоск – водочный гадючник. Наискосок от него, в каменушке, над крыльцом с крутыми ступеньками, хлебная лавка. Дальше по порядку гигантский по местным масштабам и самый крупный на Обрубе трёхэтажный дом – строительный техникум. Следом, вплотную к нему, гастроном с обширным винно-водочным отделом и с парикмахерской в полуподвальчике.

И вот уж другой угол Обруба. Здесь изо дня в день посиживает местный уродец Лёша – ведёрная голова, зимой и летом накрытая круглой, тёплой шапкой-кубанкой, атрофичные ножки спрятаны в стёганных мешочках.

Сколько лет сидит Лёша над рогожкой, на которую прохожие бросают монетки и бумажные рубли, когда редкие, а когда и погуще, и много ли времени проведёт ещё, никто не считал, не проектировал, и кому надо-то? Точно так же вряд ли кому из земляков, видимо, доподлинно известно, какого он возраста. Кто говорит, что Лёше лет всего пятнадцать, кто даёт ему на вид пару десятков, но самое веское мнение у старожилов: Лёша-де уже далеко не молод, и пост свой занимает то ли тридцать лет, то ли все тридцать пять, чуть ли не со времён Октябрьской революции и гражданской войны... И действительно, никакое время на выпуклом лбу водяночника морщинок не оставляет.

Здесь-то – привратником Лёшею, песочком и пылью, зелёной травкой у подножья рубленых деревянных жилищ – и начинается Загорная улица по нумерации домов. Так вот, если всё это миновать вдоль по Обрубу деревянными, полуразобранными на дрова руками шустрого местного люда тротуарами, по-настоящему открывается Загорная улица. На ней уж ни одного торгового заведения. Все – на Обрубке и рядом.

Загорная улица – круглая, дуга-коромысло.

С одной стороны дуги – переулки-усики, с другой – Вознесенская гора, за которой, собственно, и есть она, *За-горная* улица. Считается, что Вознесенская гора заселялась в городе ранее всех остальных районов. В городском краеведческом музее вам покажут и объяснят скопированный подлинник челобитной государю с сообщением о том, что первый острог здесь поставлен служилыми людьми не тысячу лет назад, а в совершенно точно документированном 1604 году.

Город с тех пор далеко шагнул во все стороны, и ныне, образно говоря, подобно Риму, расстилается на семи холмах.

Вознесенская гора, гуще всего застроенная, наложила отпечаток как на характер строений (у многих задняя, глухая стена, врастающая в гору, короче передней, фасадной), так и на названия улиц. Кроме Загорной, в этом районе расположены ещё Большая Подгорная улица, а также и Нагорный переулок.

Итак, длиннущую дугою выгнулась Загорная улица у самого взъёма Вознесенской горы, в тесный обхват припадает она к обрыву, снизу глядит, задрав голову, на дома Горы. А они мало отличаются от тех, что на ней, Загорной, – в два деревянных этажика, серые или чёрные, столетние, а то и старше.

Где-то на семидесятом градусе дуги с незапамятных времён карабкается вверх крутая лестница без перил. Ступени сохранились не все, доски их шатаются – ходить ночью здесь не всякий отважится. Да и в дневное время акробатничать мало охотников. К тому же не каждый знает про существование этого древнего, потаённого лаза к верху горы. Зато через него лежит кратчайший путь к Соляной площади и Белому озеру. И другой короткой дороги туда с Загорной улицы нет.

Много зданий не дойдя до заброшенной лестницы, стоит дом №32. Сюда с аккуратно завёрнутым в чистые тётки Нюсины простыни нотным грузом направлялись в один тёплый, безветренный вечер бабьего лета Тимофей Воронов и новый друг его девятиклассник Юра Каменский. Возле водоразборной колонки встретился им красивый высоченный старик с ещё не наполненными ведрами и коромыслом, прислонённым к ближайшей стене.

- Папка, милый, почему ты не подождал? - закричал Тимофей. - Я бы пришёл и принёс воды.

- Что ты, Тимочка, мне не трудно. Домой идёшь? - Старик улыбнулся им обоим так лучезарно и так ласково, что и Юра ответил ему невольной улыбкой. А Тимка между тем говорил возбуждённо, радостно на всю улицу:

- Хорошо, папка, дорогой! Скорей возвращайся. Потому что сегодня не только сам я буду дома. Веду вот Юру, нового товарища. И думаю, не просто товарища, а члена семьи!

Он повернулся к Юрию:

- Думаю так, Юра, и всё. А кто мне запретит? Знаешь, как становятся членами семьи? Нет? В нашей семье покажут. Верно, папка? Знакомьтесь давайте.

Дед-папка опустил ведра на шерabatую кирпичную площадку перед колонкой, протянул Юре широкую ладонь, крепко, не по-стариковски пожал.

- Кого Тима в наш дом приводит, тот для всех нас – родной человек. Иди, Юрочка, к нам, а я сейчас наберу водички – и тоже за вами. Поужинаем, потолкуем. Вы расскажете, что такое несёте.

- Посидим, - в тон ему сказал Тимофей.

- Да нет, спасибо, что вы – ужинать! - Юра встревожился. - Я только помогу отнести – и домой. Мне уроки учить. Я ужинать не хочу.

Юра покраснел, уши его бордово просвечивали на вечернем солнце. Видно было, как он не рад, что узел пришлось поставить на землю для передышки, ему некуда было руки девать.

- Я вообще... не ужинаю.

- Да что ты, Юра, мы с папкой и слышать не хотим отпускать тебя! - Тимка отступил даже на шаг, развёл руками, говорил шумно, уверенно: - И речи быть не может, чтобы тебя с Загорной просто так отпустили. Ты у нас останешься и обоснуешься насовсем, если пожелаешь. Места хватит. К чёрту эту сквалыгу, твою хозяйку, тебе с ней время проводить не нужно. Ты бы, папка, поглядел, в какой конуре его поселили!..

- Иди, иди, Юрочка, с Тимой, - остановил его Дед-папка. – А я мигом. Ступайте, ребяташки!

Отходя, Юра искоса, через плечо (не мог удержаться) оглянулся на стройного, седовласого, румяного человека, говорившего обрадованно, и было ясно, что это именно они с Тимкой его обрадовали! Неужели и я что-то значу для этих людей? И меня кто-то зовёт в гости? В жизни никто ещё его в гости не звал. Вдруг будто обожгло: если они так, то и мне нужно непременно сделать для них что-то приятное, доброе...

Дед-папка поднял над головой руки, помахал обеими: идите, дескать, да ждите – скоро вернусь. Потом он открыл кран, из тёмной трубы ударила сильная, светлая струя. Старик ополоснул ведро, выплеснул смывную воду, и крохотный ручеек тихо просквозил в канавке между замшелыми кирпичами.

Юра повернул к Тимке худое лицо, спросил:

- Твой отец?

- Нет, дед.

- А ты его зовёшь папкой?

- Видишь ли, Юра, тут сложность. Я вырос у него в семье. Отца не помню. Его ещё до войны взяли... и с концом... Мать у меня хирург, после фронта в Москве осталась. Новый муж, писатель, большой человек, вместе воевали, так вдвоём и живут. Детей не завели. А папка у меня мировой. Главное: все мои друзья для него как родные дети.

Протащили груз ещё сотню метров. И вот она табличка – «Загорная 32». Калитка, высокий порожек, небольшой дворик, уползающий в гору. У забора справа яблоня-ранетка, дальше овальный столик, перед ним широкая лавка без спинки. Слева – ведущие в дом два подъезда, две высокие, крепкие двери.

Только подошли, изнутри дома раздался визгливый лай. Сверху вниз по лестнице заскребли, заскребли когтями, нечто живое сильно толкнулось в дверь, возможно, ударилось – взахлёб заскулило. Юра вздрогнул.

- Не пугайся, Юра, - предупредил Тимофей. - Это сверху, от Капустиных из третьей квартиры побежал Пушок. Слышишь, как визжит радостно? Хороший признак, что он тебя приветствовал. Кого Пушок полюбит, тот в нашем доме приживётся.

В этом доме на двух этажах четыре квартиры. Номер один и номер два в первом подъезде, а во втором четвёртая квартира под третьей. И у каждой пары квартир – своя наружная дверь.

Тимофей привычным движением приподнял дверь с цифрой 4, резко толкнул её от себя, дёрнул, ещё приподнял. Внутри звякнуло: крючок выскочил из пробоя.

- Входи, Юра!

И не без смущения вступил Юра впервые в квартиру 4 дома 32 на Загорной улице.

Квартира эта начинается длинным, на семь шагов, коридором, в конце которого, слева, ожидает нас обитая войлоком дверь. В коридоре темновато, лампочки нет, а справа, под капустинской лестницей, маленькое, давно не мытое, и потому не пропускающее свет оконце. Пока шли коридором, слышали, как на лестнице, теперь вверх, медленно скребли когти: это капустинский Пушок, уже без лая и визга, неспешно возвращался восвояси.

Тимка, стоя задом к двери, толкнул её ногой, и они протиснулись в кухню. Гулко опустился на землю груз. В кухне у стола стояла немолодая, с добрым лицом женщина, очень похожая на Деда-папку. Она была аккуратно повязана цветным передником и чистила картошку.

- Ого, Ринуська! Ты дома, - радостно вскричал Тимофей. - Вот сюрприз!

- А где мне быть?

- Дома!.. Всё равно сюрприз. Чудесно. Сочиним поджарочку, посидим. У нас гость.

- Здравствуйте! - несмело выдавил из себя Юра.

- Здравствуйте, молодой человек, проходите, - пригласила Ираида.

И будто не им, а как бы в сторону смешливо сказала:

- Что-то несут. Опять, видать, Тимошка распотрошил очередную библиотеку.

Подмигнула Юре на Тимофея:

- Он знаете кто у нас? Джек-потрошитель библиотек.

- Больше, чем библиотеку, Ринусь! Две, три библиотеки! Притом нотные. Такого собрания мы с тобой ещё не видели. Ты же понимаешь, что это для всех загорцев значит? Я так и говорю всем: никто на свете не понимает такие вещи, как наша Рина.

- У твоего отца тоже было многое. Было да сплыло...

- А у нас будет. И всё сначала.

Он развязал простыни, тут же, на кухне, разворошил содержимое узла, поднимал книги по одной, показывал, называл фамилии композиторов, напевал отрывки мелодий, жестикулировал, обращался то к Рине, то к Юрию. Рина слушала с большим вниманием, из-за плеча Тимофея просматривала ноты, иногда напевала, иной раз они с Тимофеем спорили, как правильно надо напевать.

Юра, в стороне, толком не знал, зачем он здесь. Но это прошло. Тимка, как давеча было с Дедом-папкой, предложил Рине пожать руку Юрочке.

Распоряжался:

- Готовь скорей, Рина, ужин. Мы сильно проголодались. Папка придёт, пошлём на Обруб за горячим для самолётов. Надо отметить двойной праздник: приобретение нотной библиотеки и новое ценное знакомство. Отныне имя Юры, само его существование будет связано с этой вот нотной библиотекой.

Рина, перестав его слушать, долго извинялась, что не может подать руку, потому что мокрая. Корила Тимошку: он, мол, всегда так – не предупреждает, что в доме будут люди, а в квартире неразбериха, не убрано, и из еды ничего нет, только готовится...

К Юре она отнеслась, как и Дед-папка, будто к ровне, называла на «вы».

На простынях литературу перетащили в комнату.

Юра спросил шёпотом:

- Как её по отчеству?

- Да что ты, Юра, милый! – отозвался Тимофей – Рина обидится, если будешь с ней по отчеству разговаривать. У нас всё попросту, люди обычные, хорошие. Кроме Рины и папки есть ещё Марьяша, она сейчас на работе. Тоже весёлый человек. И бабушка... Вот и вся родня. Ираида сейчас в отгуле. Отпросилась на работе, как знала, что мы с добычей...

- Но я-то не свой вам.

- Ты что говоришь, Юра? Как тебя понять? Я чувствую, и ты, наверное, тоже, что мы подружился. Уже подружился. Потому что вместе сделали открытие. Такое не забывается. Предчувствие меня никогда не обманывает. А кто мой друг, тот друг и всех моих домочадцев. Ты уже слышал это от папки, а он, обрати внимание, сразу проникает в самую суть вещей. На Загорной всегда полно людей, сам увидишь. Все домочадцы к этому привыкли. Рина просто так, для порядка что ли, воркотню развела. Ты не смущайся!

Юра осматривался. Ему представилось, что в комнате повернуться негде, так тесно. Казалось, всё пространство занимал рояль, и оставался небольшой прогалышек, где и стоял он сам. Была ещё заправленная кровать, были стол и пять стульев, был шкафчик с посудой, а на стене над столом очень большой портрет Льва Толстого. Три двери – две в другие комнаты, третья в кухню, где сейчас действовала Рина. Юра переминался с ноги на ногу, очень стеснялся: собственные ступни казались чрезмерно большими (размер 41 с половиной), а ботинки со стёртыми каблуками, порванные по заднику, лопнувшие на мизинцах, показывали непередаваемую бедность.

- Ты присядь, Юра, - пригласил Тимофей. - Я тут поразбираюсь, посортирую нашу добычу. Приведу к месту.

И действительно, ноты тщательно раскладывались им на столе, на стульях, на крышке рояля, занимавшего почти половину комнаты, на кровати. Тимка подсел к инструменту, поставил на полочку одну книжку нот, стал играть, отбросил книжку, взял другую, играл, продолжал в том же духе, всякий раз перед началом игры произносил имя автора и название вещицы. Всё бы переиграл единым разом, но невозможно.

Юра сидел тихо, слушал, оглядывался.

Над кроватью разглядел портрет в рамке и под стеклом. Нестарый человек в белом стоячем воротничке, каких сейчас не носят, в старинном галстуке, походил на кого-то из учёных XIX века, чьи изображения есть в «Основах дарвинизма» или в «Литературе», там нарисованные революционные демократы-шестидесятники⁶. Лицо бритое, широкое, скуластое, твёрдое, с выступающим подбородком. На лоб надвинута шляпа-котелок. Глаза, насколько понимал Юра, смотрели с какой-то страдальческой силой.

- Тимка, это кто?

- Увеличенная фотография дальнего нашего родственника. Выдающийся человек, учился в Берлине и Женеве у самых знаменитых профессоров. Химик, сын купца первой гильдии, поэтому в семье говорить о нём как-то не принято. После революции вернулся в Россию, был директором завода, потом взял и покончил с собой. Отравился. Будто запутался с женщинами. Я в это не верю.

- В газетах даже писали.

- В газетах, да. Про политику тоже писали. Он, может быть, тоже в чём-то замешан. Допускаешь?

- Голодной куме всё куры на уме. Так и ты... Замешан, не замешан, не нам судить, кому положено, те и разберутся. А ты бы звонил поменьше.

- Не верю я, Рина, хоть что со мной делай, не могу поверить, что Фёдор Иваныч, мировая величина, учёный, наложил на себя руки из-за женщин. В сорок два года!

- Семья у него была?

- Сын остался, с восемнадцатого года рождения. Сидел как враг народа, освободился. Женился, есть ребёнок. Написал нам. Папка ему ответил, дальше – с концом. Мы больше не пишем – и он молчит.

Ещё висели фотографии – две женщины улыбаются, зубы белые-белые.

- А что за женщины, расскажи Юре. Ты в них разбираешься, Рина.

- Особенно в одной, - подала голос Рина. - Жила на Кононовском, в нашего Тиму втюрилась по уши. И из-за него сбежала из города. Ты лучше про Льва Толстого расскажи Юре.

Тима наигрывал на рояле какой-то марш. Не вставая, стал рассказывать. Каждая чёрточка головы, лица, бороды и даже блузы портрета являла мельчайшими буквами написанную строчку, а всё вместе составило 18 глав из «Крейцеровой сонаты»... Где-то по свету бродит ещё один подобный портрет, там уместилось 23 главы. Оба рисунка выполнил один сумасшедший почитатель Толстого. Литографировали в Лейпциге, число экземпляров ограничено, в продажу не поступали. Вот всё, что известно. Достался портрет по наследству.

Юра взгляделся. В самом деле, волосы, борода, линии лица – всё были извилистые, в разных направлениях пущенные строчки. Портрет облекала рама, покрытая похожим на мох плюшем.

⁶ Речь идёт о Белинском, Добролюбове, Чернышевском и Писареве. (Прим. автора)

Портрет отражался в стоявшем на ножках у противоположной межоконной стены продолговатом, в рост человека, зеркале.

Тимофей наигрывал. Рина возилась на кухне. Их занятость избавляла от необходимости произносить что-то умственное, вообще говорить, обдумывая, как надо вести себя. Ибо, несмотря на приветливость этих людей, он, оказавшись в незнакомой и такой интеллигентной семье после своего убожества чувствовал себя совсем неловко.

В комнату вступили тихо, чтоб не мешать Тимке, Рина и Дед-папка. Юра дёрнулся вскочить, но Дед-папка улыбнулся, махнул рукой: сиди, мол. Молча послушали. Тимофей повёл головой.

- Ты здесь, папка? Чего-то долго тебя не было. Не сходишь на Обруб? Взять бы беленького, красненького, чего-то вкусненького. Сегодня большой день. Отметим.

Говорилось о беленьком, красненьком, вкусненьком энергично, горячо, напористо.

У Юры, со вчерашнего дня не евшего, защемило в глубине живота.

- Ну конечно, Тимочка, конечно, - засуетился Дед-папка, хлопотливо засобиравшись, бритое, в морщинах лицо его улыбалось. – Я скоренько. Нынче на Обрубке и беленькое, и красненькое – сколько хочешь, без ограничений. У нас больше никого не ожидается?

- Может быть, Костя Буткеев нагрывает, давно собиравшись. Ринуська ждёт...

- Вот бы как хорошо! – Дед-папка зажмурился от удовольствия, тряхнул головой. Действительно, славнее некуда, если собираются враз три таких замечательных музыканта: Тима, Буткеев Константин и Марьяша. – Ты, Идочка, собирай на стол. Я мигом.

И удалился.

Ираида на кухне гремела кастрюлями, стучала ножиком. Пахло жареным с помидорами и луком мясом, разваривающейся картошкой, ещё чем-то из давно забытого Юрой детства.

Дед-папка, правда, возвратился почти немедленно. Непонятно, когда успел слетать до магазина на Обрубке, постоять в очереди и скорой ногой вернуться. Возможно, очереди-то как раз и не было. Кошёлка распахнулась, появились на столе бутылки, Юра уяснял понемногу язык этого дома: беленькое, красненькое – белая водка, красное вино. Юра в жизни спиртного не пробовал и не хотел. Попытался уйти, Дед-папка мягко, но чуть не силой удерживал. В центре стола поставлена была крупная, тёмная бутылка с серебряным горлышком – «Советское шампанское».

Дед-папка специальным ножичком открывал банки с консервами, широкими кусками нарезал белый хлеб, складывал в хлебницу. В зелёной, рубчатой солонке появилась белая как снег соль. Шесть рюмок поставил на стол Дед-папка и шесть стаканов. Холодная вода, зачёрпнутая пивной кружкой из ведра, в кружке и осталась. Из кухни принёс тарелку с ломтями красной рыбы. Плотные пупырчатые огурчики лежали на металлическом блюде (на дне блюда вычеканен стоящий на четырёх лапах медведь).

Тимка встал. Какое-то время обозревал угощение, потирал руки, заметно начинал волноваться.

- Ну и чо, ребятишки, мы чо или мы ничо, или мы уж совсем ничо? Вижу, что чо... Давайте *посидимчик* устроим, о многом перетолкуем. Ночь впереди длинная. Придёт Костя Буткеев – отлично, спасибо ему. А не придёт – и сами не пропадём. Верно же, ребятишки?

Он вскрыл оставленные для его вмешательства банки – «шпроты», «крабы». Юра из-за дороговизны такие никогда не покупает. Нож был специальный, Юра не знал, что подобные предметы бывают. Черенком ножа Тимофей бережно постучал по горлышкам бутылок – оббивал сургучные нашлапки.

На банке крабов большими красными буквами помещалось слово «СНАТКА» и нарисованный клешнястый, красный краб. *Как хоть едят-то эти шпроты и крабы?..* Где-то читал Юра про крабов: панцирь, под ним мягкое тельце, будто бы из него едоки высасывают сок, солёный, как морская вода. Вдруг сок брызнет и обольёт скатерть? Люди рассердятся...

К счастью, панцирь отсутствовал, а кусочек розоватого, волокнистого мяса был зачем-то завёрнут в папиросную бумагу.

Перед каждым стулом Тимофей поставил столовый прибор: тарелку, слева от неё вилку и справа нож, рюмочку и стакан. Посуда на шестерых, хотя пока их вместе с неслышно появившейся бабушкой было пятеро.

Откуда-то добавились к пяти стульям две табуретки.

Ираида внесла большущую чугунную сковороду. Тимка точным движением ловко швырнул под закопчённое днище проволочную подставку.

- Жаркое, коронное блюдо Ираиды, - объяснил Юрию.

Сытный пар забродил по комнате, у Юры занялось дыхание. Кушанье шипело, шкворчало, дымилось.

В коридоре из рукомойника помыли руки.

Сели за стол. Юра и Тимофей глаза в глаза с Львом Николаевичем, Дед-папка с торца стола, у двери в его и бабушкину комнату. Ираида у кухни. Рассаживались без обсуждения, у каждого своё место. Присела бабушка, маленькая, тихая, чуть слышно поздоровалась. Её усадили с почтением, и больше во весь вечер ни она с ними, ни они с ней не произнесли ни слова.

Один стул – там, где мальчики – никто не занял. Но именно в тот момент, когда все, кажется, кончили рассаживаться, послышались по коридору за стеной шаги.

Шли на высоких каблуках.

Все выдохнули: Марианна!..

- Марьяша, вот и ты!

- Вот и я.

- В самое время!

- Как чувствует!

- Она молодец!

Тимка поднялся встретить. Взяв за руку, провёл стройную, приятного вида женщину. Все задвигались, освобождая ей место за столом. Тимка шутил, она отвечала мягким, глубоким голосом, смеялась. Тимка представил:

- Ты, Юра, не поверишь, и, возможно, будешь прав, но это не сёстры мои, а родные тётки. А Ирка вроде как папкина младшая сестра, но мне тоже тётка. Разве скажешь? Такие молодые, моложе меня самого.

- Особенно я – молодая, - заметила совсем не юная Ираида.

А Марианна, точно, на тётушку не походила. Юрина тётя была другая – толстая, старая женщина, с очень трудной биографией, она часто жаловалась, что вся больная, едва живая, кричала, что дети её в гроб загонят, ворчала по любому поводу.

Марианна при знакомстве с Юрием поздоровалась за руку. Её ладонь была узкая, нежная, прохладная. Юра не сразу понял, почему у неё ногти красные, а это всего-навсего был маникюр. Марианна внимательно посмотрела большими, серыми, влажными глазами, улыбнулась ободряюще: не теряйся, что уж ты совсем... И, отвернувшись, заговорила с Тимкой, Ираидой, с Дедом-папкой – со всеми. Вспоминала события дня на работе, по дороге, так же про каких-то людей, которых все, кроме Юры, знали, и за столом с жаром обсуждали поступки и слова этих людей, свежие и давние.

Рина сказала:

- Марьяша, готовься. Тимошка раздобыл столько музыки, что нам с тобой не могло и присниться.

- Подробней можно? - спросила Марианна.

- Подробности потом.

Юра сидел, опустив глаза, сосредоточенно рассматривал узор на скатерти. Ему всегда казалось, что красивые женщины должны только и делать, что над ним – нескладным, носатым, ушастым – смеяться, и при нём больше ничего им на ум придать не может.

Вдруг Марианна сама себя перебила:

- Я как, наверное, ошеломила Юру своей беспардонной болтовнёй. Но я, Юра, не всегда говорю так много...

- Только если Тимошка рядом, - уточнила Рина.

- Да что вы, - у Юры сухой язык едва поворачивался во рту. - Мне хорошо.

Костя Буткеев не появлялся.

Тимофей больше не хотел ждать ни минуты: нет – и не надо, я ж говорю...

Он поднял бутылку, слегка взболтнул содержимое, посмотрел на свет, что получилось.

- Оскоромимся, ребяташки?

- Вчера скоромились, позавчера, - подсчитала Рина со своим обычным смешком. - Тима наш постно жить не в состоянии. И нам не даёт.

- Не так говоришь, Рина, милая, - упрекнул Тимофей. - На Загорной вся семья не любит жить постно и пресно. И не живут. Иначе это были бы не загорцы. Ты ведь это имела в виду? Никто из загорцев никогда не унывает и не грустит. Верно, папка?

- Всю правду, Юра, Тимочка говорит. Сколько народа бывает – все довольными остаются.

- Выпьют – и довольные, - пошучивала Ираида.

- Значит, надо выпить, ребяташки, милые, - деловито поторопил Тимофей. - Вы все такие трезвые сидите. Нехорошо. Начнём, как полагается, с белого. Потом – шампунечку.

Дед-папка выпил сразу, поморщился, вилок поддел огурчик. Тимка проглотил водку не морщась, будто пил воду без градусов, посидел, переваривая, только тогда захрустел огурчиком. Рина отставляла рюмочку, Тимофей настаивал:

- Надо, Рина, милая, надо, за новое знакомство. За ноты. А то Юра, глядя на тебя, тоже стесняется, а он гость. И некрасиво.

Как заставляют за столом пить наравне с другими, Юра видел впервые. И не знал, как нужно себя вести в подобных случаях.

- За Юрочку! - поддержал Дед-папка.

Тимка собрался было налить водку Юре, но Марианна прикрыла его рюмку ладонью. Юра посмотрел на неё с благодарностью. Никто, даже Тимка не настаивал, чтоб Юра выпил.

Марианна чуть пригубила.

На почти полной рюмке от её рта осталась красная змейка.

Тимофей медлительно вынимал пробку, тянул за душу – открывал шампанское.

Все предупреждали:

- Смотри, пробка вылетит!

Он не отвлекался. Когда пробка с шумом выскочила, все вздрогнули, хотя и ждали, что хлопнет.

По стаканам разлил Тимофей золотистый напиток. Пена везде вспучилась, но через верх нигде не просочилось ни капли.

Тимофей стоя провозгласил:

- За наши успехи! За прошлый и нынешний!

Марианна, чуть склоняясь к Юре, тихо попросила:

- Всё не пей! Или совсем не надо. Пропусти...

От неё пахло духами и чем-то не менее приятным. Юра решил – и не ошибся: губной помадой.

На её шёпот никто не обратил внимания.

После вина у Юры сделались лёгкими руки и ноги, слегка закружилась голова. Он в жизни не был пьян никогда, но пьяных видел и знал, как все их видят и знают. И вот понял, что, если ещё добавит, то будет такой же.

Он уж не стеснялся, язык снова начинал слушаться.

- Меня развезло, - без капли смущения сообщил всем. И на него опять накинудись: ешь, Юра, того, этого, жирного, острого, вкусного.

Тимка с дедом налили себе ещё водки, кажется, по четвёртому разу, Рина дотягивала рюмочку мелкими глотками. У Марианны не уменьшалось налитое Тимкой красненькое. Она объявила, что берёт Юру под свою опеку и намерена не давать его в обиду. Иными словами, спаивать его Тимке и деду не позволит. Не велела наливать больше ни ей, ни Юрию. Потому что Юра почти ребёнок. Тимка послушался.

- Какой разговор! Ты, по-моему, Марьяша, отлично знаешь, что у нас на Загорной никто никого насильно пить не заставляет.

Марианна только головой покачала. И тотчас завела с Юрой интересный разговор о книгах, картинах, кто где был, куда ездил. Юра увлёкся, рассказывал про Москву, раскрепостился, его все слушали.

- Кем будешь, когда вырастешь? - спросила Рина.

- Я уже вырос, - сказал Юра, но ничуть не обиделся. - Буду врачом.

- Твёрдо?

- Врачом. Никем больше мне быть не надо.

И о его нынешнем житье-бытье зашла речь. Женщины возмутились, что Юру так подло обдули с квартирой. Сплошное варварство!.. Мало ли кто на скольких метрах ютится, всем свои квартиры не отдашь! Просто бессовестная особа – воспользовалась его добротой и неопытностью. Марианна с Тимофеем должны к ней пойти, наkostenять как следует и добиться справедливости. Пихнули парня в яму, отняли его законную комнату. Это разве дело? Хоть бы его хорошо устроили! А то на него наплевали. Та женщина, бывшая соседка, своего добила, а что с ним будет, плевала, бесстыжая!

Тимка так разогрелся, что собрался всё бросить, и сию минуту пойти отстаивать справедливость.

Юра спорил: именно в справедливости всё дело! Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за того, где жить ему одному. И только. Ай-яй-яй, какая персона, подавай ему отдельную комнату! Такая цаца... Ему какая разница, где жить? Лишь бы крыша над головой. Зачем вообще человеку дом? Ну к чему? Переспать в зимнее время. В крайнем случае, друзей пол-города, не прогонят. На вокзале тоже можно ночевать. Или на телеграфе. Круглые сутки открыто.

Рина, без обычной подковырки, пригорюнься, спросила:

- А ты уже пробовал?

Юра, не ответив, продолжал горячиться. Вообще, о чём мы говорим? О каком-то жильё. Квартира, комната – чепуха, бред, не стоящее дело!.. Люди жили на голове друг у друга. При тете Нюсе хотя бы. В самом деле так жили, никто не выдумал. Ясно, что справедливо соседям жить в бывших его хоромах! В хоромах, не в хоромах, ладно - но там.

Рина его жалела, хотя он сам себя жалким не чувствовал. Всё произошло оттого, что Юра сирота. И заступиться за него некому. А бескорыстие от сиротства и вырастает.

Ну уж нет, он сам за себя заступится! Нашли бедненького! Да и зачем за себя заступаться? Надо за других заступаться – смысла больше. А родители что? Не всем они достались, чтоб на всю жизнь с ними. Ну нет отца с матерью – и что дальше? Прожить и без них можно.

- Куда, Юрочка, твои родители пропали? – спросил Дед-папка.

Сбивчиво, немногословно пытался объяснить. Ссылался на рассказы тёти Нюси. Нет, не на фронте. Ещё за несколько лет до войны. Он был совсем маленьким, ничего не помнит.

Поняли: большая тема. И – общая... Лучше сменить пластинку.

Дед-папка согласно покивал:

- Действительно, некоторые и без родителей хорошими людьми вырастают. После войны кругом столько сироток осталось – что, им всем теперь в шайки подаваться? А можно с отцом-матерью, с дедом-бабкой век прокрутиться, а толку – ноль или даже минус.

- Как Тимкин друг Ким Балагурский, - сказала Рина. Стали обсуждать какую-то семью. Там и родители, и деды с бабками с пелёнок тряслись над Кимом, а получился нехороший – вредный, скупой, плохой товарищ. Словом, подлец подлецом. Рина напала: Тимошка сам от Кимки потерпел – и сам же с ним якшается. Тимофей возражал: всё-таки у Балагурских что-то есть и хорошее, не одно плохое.

Дед-папка, пока они спорили, делился с Юрой. Вводил в курс дела.

- Тимочка у нас на руках остался четырёх лет. Вон какой вырос. Здоровый.

- Куда здоровей? - весело подтвердил Тимка. Показал себе на горло, сделал еле уловимое движение губами – подобрал их внутрь рта, тут же выпустил. Ничего не сказал, но все будто услышали: буль-буль-буль, и засмеялись восторженно.

Ираида, обычно сдержанная, ироничная, неожиданно принялась как бы оспаривать дедовы слова о Балагурских. Называла его Витей, горячилась. Он её задел. Тимошку с Юрой нельзя

сравнивать. Две совершенно разных судьбы. Тимошка, собственно, никогда из семьи не выпадал, семьи не лишался. У нас тоже взрослых на одного ребёнка хватает. Обижаться на недостаток любви и внимания ему не приходится. Юра же в раннем детстве попал к тётке, которая, возможно, и добрая женщина, однако ей совершенно было не до него.

- У неё своих была куча, - мрачно подтвердил Юра. - Да мы с братом на голову свалились. Не знала, по каким углам всех расталкивать.

Ираида с дедом Витей долго ещё говорили, вспоминали общих родственников, какие-то семьи, происшествия, дела далёкие и давние.

Юра старался не засматриваться на Марианну, а глаза сами к ней обращались. Она улыбалась, произносила вполголоса фразы в общем незначащие, незапоминающиеся, мимолётные, но звучащие необычайно и значительно для его слуха.

Ни разу ему так хорошо не было. Будто за этими минутами уже никогда в жизни мучений не последует. И никакими расспросами о сегодняшних приключениях Рина больше не докучала.

О нынешнем новом грузе договорились пока не помнить. Завтра на досуге, на свежую голову...

В один момент замолчали Ираида и Дед-папка. Старик насупился, стало боязно: не зарыдал бы. У Ираиды появилась посреди выпуклого, большого лба глубокая ложбина, складки у рта опустились, тоже грусть опутала. Тима сидел у рояля и тихо играл что-то невыразимо печальное. Марианна, стоя у него за плечом, тонкой рукой перебирала лежащие у Беккера на крышке ноты. Едва слышно, одними губами напевала мелодию, голова её в такт музыке тихо покачивалась.

Тимофей воодушевлялся, игра становилась живее, он то принимал к чёрным и палевым клавишам, почти касался их щекою, то вдруг резко отклонялся назад, и голова его откидывалась, а глаза были закрыты. То снова длинные Тимкины волосы падали на быстро бегущие по звучащим палочкам, чёрным и палевым, пальцы.

Ничто не мешало музыканту – ни те же собственные рассыпавшиеся волосы, ни люди, бывшие в комнате, ни книжка нот, что стояла перед ним раскрытая. Но нет, Тимофей не заглядывал в книжку! Память не подводила... Изредка только выпуклые аквамариновые глаза его останавливались на обращённом к нему лице Марианны, но тут же отходили куда-то вглубь и в сторону....

Неожиданно резким ударом Тимофей сменил тему. Новая дивная мелодия заиграла светом, точно переломилась и пошла по солнечному лучу, невесть откуда взявшемуся здесь ночью, при тускловатом электрическом свете, и пронзившему золотою спицей полумрак душноватой комнаты.

Распрявил дед широкие плечи. Задумчиво, одними губами улыбалась Марианна. Нашёптывая мелодию, она принялась выносить в кухню ненужную более на столе посуду. Ираида ей помогала. У Юры же навернувшиеся было слёзы просохли.

Тимофей сказал Марианне:

- Хочешь – садись.

Марианна выводила слушателей из дебрей строгой классики по тропинке бравурной маршевой песни:

*Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину
Наши казаки, -*

напевала негромким, глубоким голосом под свой аккомпанемент, не отрывая серых внимательных глаз от Тимофея, и никаким вовсе не развлечением были её песенки... Дед подыгрывал на губной гармошке, и это усиливало эффект от песни.

Казаки, казаки, а все ли они добрались до того самого побеждённого Берлина? Сколько залихватских весёлых чубов по дороге осталось?..

А ещё Тимка с ней играли вдвоём, и это, пояснил дед Юрию, называлось *в четыре руки*.

Ираида включила радиоприемник, сверила часы. Из ящика запели, как она и рассчитывала, ожидаемую песню, дед отставил губную гармошку, из своей комнаты принёс гитару, играл и подпевал радиоприемнику:

Летят перелётные птицы

*В осенней дали голубой.
Летят они в дальние страны,
А я остаюсь с тобой.
А я остаюсь с тобою,
Родная навек сторона.
Не нужно мне солнце чужое,
И Африка мне не нужна.*

Юру это пение отчего-то сильно растрогало, заволновало, довело до слёз.

Кто-то, ему не известный, словами и музыкой, всем существом души доказывал свою необходимость на *этой* земле, свою принадлежность ей и только ей одной, пробивался через непонимание и нарочно поставленные преграды, боролся с необозначенными, но жёсткими, подавляющими силами.

И он, Юра, такой же.

И про него придумано.

Хотелось подпевать, но он стеснялся, потому что прежде очень редко так делал. И вдруг неожиданно пропел четверостишие – и все похвалили: хороший мужской голос. И мелодию знает Юра, и текст.

Раньше остальных спохватилась Ираида.

- Батюшки-светы, первый час ночи! Тимошку нашего если не остановить, так он до утра будет музицировать... И где я вас всех уложу, ребятишки, не знаете?

Прикидывала, кого и где разместить на остаток ночи. Открыла дверные створки в комнатке, где обычно ночевал Тимофей, а когда Марианна оставалась, то спала Марианна. Теперь там стопками помещались нотные залежи.

- Имущество неживое, можно потеснить, - подсказал Тимофей.

- Нет, я, Ира, пойду к себе, - заявила Марианна.

- На Белое озеро? В такую позднотищу? Одна? - поразились Ираида.

- Мальчики меня проводят. - Она подмигнула Тимке, Юре. - Правда ведь?

- Конечно, проводим! - горячо подтвердил Юра. - Какой может быть разговор!

- Их там, Марьяша, серый волк не заберёт в твоих закоулках, мальчиков? - засомневалась Ираида.

Тимофей и Дед-папка поугovarивали Марианну остаться, места всем хватит. Не первый раз и не последний. Что это тогда будет за Загорная улица, если с неё Марианна должна бежать в темноте на Белое озеро? Загорная, Марьяша знает, вмещала и по десять гостей, и по двенадцать.

Марианна перебила и с неожиданным раздражением выговорила Тимофею, что он ничего не понимает в её делах, а у неё завтра, собственно говоря, уже сегодня, ответственные занятия в трёх группах детского сада, и следует хотя бы немного поспать, а на Загорной милый Тима своими разговорами никому не даёт уснуть вовремя.

- И тебе, Юра, не даст, вот увидишь!..

- Я вовсе не хочу спать! - выкрикнул Юра. - Я могу три ночи не спать!

Он тут же пожалел, что так сказал. Человек может обидеться от твоего бахвальства: ты вот в состоянии три ночи не спать, и ничего, живой, а другим надо обязательно высыпаться каждую ночь, тогда будут свежими. Плохо так намекать.

Но он, верно, мог провести без сна (такое случилось, когда ещё жил в семье у тети Нюси) трое суток и не чувствовать особой усталости при этом.

Марианна сказала Тимофею:

- Мне стали надоедать твои вечные рассуждения. Если сию же минуту не оденешься, уйду одна, потому что я девушка здешняя и прекрасно в состоянии сама найти дорогу в городе.

Тимка без единого звука надел пиджак и кепку. Помог ей натянуть плащ.

Один за другим трое прошли по коридору, ступили в ночь, в темень. Окна в домах не светились. Пушок не выбежал провожать. Должно быть, храпит, засоня.

Посоветовались, как идти: в обход ли по улицам, либо через лестничку, напрямую.

- Я тороплюсь, - сказала она.

- Каблуки сломаешь, - предупредил Тимофей.

Было не холодно. Сверху с горы тянуло сыростью. Вдоль склона из-за домов струилось тихое шуршанье травы и кустарников. Пахло сладковатым дровяным дымком, брёвнами, отсыревшими в стенах старых зданий, цветами, марьяшиными духами. Видимо, недавно прошёл маленький дождь, обострил запахи. На Загорной из-за громкой музыки звучание дождя не слышали. Улица никогда освещена не была. Но они видели: ни грязи, ни луж дождь не - Ничего не сломаю.

оставил.

Марианна прошла за калитку впереди мальчиков.

- Давайте-ка я вас под руки возьму. Что-то прохладно.

- Я лучше рядом, - попросился оробевший Юра. Она не разрешила.

- Нет уж, пускай Тимофей впереди идёт с фонариком. Да и тесно на тротуаре втроём. Я про это забыла.

Учила: когда женщина опирается на твою руку, то её надо держать согнутой в локте, плечо – прижатым к туловищу. Вот так. У тебя получается. У каждого получится. Не бог вещь какая наука. А у тебя, между прочим, всё получится. Ты такой – сильный по жизни, хотя сам о себе так не думаешь, - догадывалась Марианна, и в точку... И продолжала его образовывать, учить светским манерам:

- Вообще-то ничего особенного и сейчас не совершается. Так мужчина должен поступать всегда: выходя из помещения, обязательно предложи руку своей даме, то есть девушке, которая с тобой идёт. Причём чем меньше говоришь, тем лучше. Девушки вообще-то к пустомелям проявляют интерес, но быстро их раскусывают... Лучше пусть она говорит, а ты слушай. Только согни вот так руку, тебя всегда поймут.

Тимка, светивший впереди фонариком, не согласился.

- Ты, Юрка, милый, не верь. Запомни: мужчина любит глазами, женщина – ушами. И кто кого за руку водит – момент второстепенный.

- Да уж, ты-то всё знаешь, кто и как любит, - неодобрительно отозвалась она. И продолжала наставлять: - Идти нужно прямо, расправив плечи, не горбясь и не раскачиваясь, как ты это делаешь. Движения должны быть естественными, без напряжения. У воспитанного человека всё получается само собой.

- А я не воспитанный. И воспитанным быть не собираюсь, - зачем-то сгрубил Юра. - Меня в школе учителя воспитывают. В семье – тётя Нюся. И теперь вы.

- Воспитание воспитанию – рознь, - как бы намеренно не заметив резкости его слов, сказала Марианна.

- Не знаю. - Юра не хотел сдаваться, но и боялся, что она умолкнет, скажет себе: «Не хочет воспитываться – ну и чёрт с ним, с глупым, пусть так двигается». Сердце его то замолкало и падало, будто в яму, то вдруг принималось быстро, быстро трепетать и биться. Такое сердцебиение не ощущалось как болезнь, а было чем-то другим, новым для него. Он изо всех сил стремился выполнять сказанное Марианной, держаться выпрямленным и двигаться без раскачки, ровно. Проклятая сутулость, нелепая походка, правильно в классе смеются!.. Он так старался управлять дыханием, что даже вполоборота отвернулся от Марианны. Она была ростом немного ниже его, очень стройная в затянутом пояском плаще, без шляпки или платка. От непокрытой женской головы тянуло духами. Зачем только он её встретил и что с ним теперь будет?

На деревянной лестнице она не отпускала Юрину руку, хотя ступеньки шатались, а некоторых совсем не было, как и перил. К счастью, Тимка хорошо светил им под ноги. Марианна поднималась ловко, упруго. И какое там «каблуки сломаешь»! Она вела запинаящегося Юру, а не он её!..

Ещё и подбадривала:

- Не бойся, не упадёшь. Не провалишься... Я здесь каждый сантиметр знаю.

Так, без особых приключений, дошли они до её дома, расположенного довольно далеко, почти у самого Кабельного завода.

- Спасибо, Юра, - сказала она у подъезда. - Спасибо, Тима. До скорого свиданья.

И в момент исчезла, точно растаяла в темноте. Так неожиданно... Казалось, отошла всего на полшага и через минуту вернётся. Юра хотел, чтобы Тимка позвал её. Или чтобы они пошли за ней в дом и возвратили Марианну, и она бы ещё с ними стояла. Но на это нельзя было надеяться.

- Уходим, Тимка, скорее отсюда, - хрипло, глуховато буркнул Юра.

- Ага, пора и ноги уносить.

Заметно холодел ветер. Близ фонарей было видно, как облачками отлетал пар от дыхания. Мёрзли руки, нос, уши. Луна золотистым кругом недвижимо обозначалась на мраморном фоне лёгких прозрачных туч. Тёмные силуэты деревьев, будто страшные чудища, дрожали в тревожном свете луны и редких фонарей (здесь на столбах трепетала цепочка светильников).

- Странно, всё странно, - говорил Тимофей. - Всего месяц назад я бегал далеко в тайге, в непролазной глуши, на Обском Севере. Цивилизации ноль, одна экспедиционная полуторка – и та в разъездах, да движок для электричества, а так – лошадки, старые клячи, которым давно пора на погост. Палатки, птицы, ночью костры из сушняка и старых веток, противочинготный горький чай с хвойной заваркой. В костёр, чтоб горел ярче, бросали жирную землю. Она горела, как факел. Это нефть, Юрка. Старые геологи говорили: нефти там – завались. Добывать не хотят, держат в резерве... А ищут золото. Начальники говорят: нефть станут разрабатывать и добывать не раньше, чем через пятьдесят лет. А то и все сто лет спустя за неё примутся... Сейчас – молчок.

- Спрашивал, почему? Есть у кого спросить?

- Государственный секрет... Моё мнение: руки не доходят. Савелий Саныч, старый геолог, он меня определил в партию изыскателей, так объяснил: найти можно, но завозить в тайгу оборудование, людей, строить посёлок, а, главное, железную дорогу – такие средства у государства не скоро появятся. Ладно, сменим пластинку, я же не о том. Жизнь казалась естественной, будто для неё родился, и никогда ничего не изменится. Но больше не поеду, не моё. Из нашего города меня клещами не вырвешь. Точно тебе говорю, можешь меня избить, если совру: никуда не уеду. Закажу себе место на кладбище, пусть над могилой вобьют кол с надписью: «Здесь лежит Тимка Воронов, музыкант и сосед с улицы Загорной». Симонова читал?

- Учил в школе.

- Вот у него:

*Кусок земли, прижатый к трём берёзам,
Далёкая дорога за леском,
Речушка со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком...
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли...*

Мне та горсть земли – наш с тобой город. Моя Загорная улица. А Симонов – это про другое. Московский поэт, и хорошо пишет. Стихи легко на память ложатся.

Юра, заброшенный сюда не по своей воле и не из прихоти родных, не знал, любит он этот город или не любит, уехать из него или не уехать, от Юры никак не зависело, а про то, где похоронят, и думать не собирался: уж если ты стал не живой, то не все ли равно, куда зароят? Просто в данный момент жил здесь, потому что судьба так распорядилась, и жил, как получалось. Стихи Симонова заставляют учить на уроках по литературе, и этого ему хватает.

А жить, как хочется, как другие живут, не дают. Всё перегородили, что хотели. Учиться можно. Пока можно...

- Да, брат Юрочка, - неожиданно произнёс Тимофей. - Семья – большая опора. Тому не повезло, у кого не так. Или не совсем так. Или совсем не так. А у меня, коли не было бы Загорной со всей роднёй, так ещё кто его знает, что бы я сейчас делал. Возможно, в тюрьме сидел бы.

Юрий хмыкнул. Ему было неприятно слышать про семью. А про тюрьму – больно, от тети Нюси наслушался...

Он ведь решил жить сам по себе. Как живут другие. У кого тоже семьи нет.

Дома Ираида и Дед-папка полотенцами перетирали вымытую посуду.

- Где будете спать, Тимошка? – спросила Ираида.

- Здесь, в столовой, Идочка. Брось нам на пол чего-нибудь.

И сам с Дедом-папкой начали обирать с вешалки, носить и сваливать на пол какие-то пальто и шубы, ватники, шали. Тимофей подровнял всю грудку, и таким образом в треугольнике между кроватью, которую из солидарности с другом решил не занимать Тима, столом, роялем и трюмо, возвысилось обширное, мягкое ложе. Из оставшейся одежды он устроил изголовье, такое, что подушки не требовалось. Ида принесла и дала Тимофею две чистых простыни, и он положил их поверх подстилки. Нашлись и два одеяла.

Почему-то повеяло детством и не старой ещё тётей Нюсей. Юра чуть не заплакал.

Ираида и дед ушли. Но не расходились.

Было слышно, как что-то бубнил Дед-папка, и в тон ему отвечала Ираида. Говорили вполголоса, чтоб не разбудить ребят.

И они немного поговорили, и тоже шёпотом.

- Сколько Марианне лет? - вроде бы небрежно спросил Юра.

- Выглядит Марианна молодо, а лет ей много. Старая для тебя, Юра. У неё поклонники совсем взрослые. Женихи гужом ходили, а теперь их остаётся всё меньше и меньше... Подумай, как тебе забыть про неё. Ну есть Марианна и есть, и пускай будет. Отдельно от тебя, как от меня.

- Да я ничего, я так спросил.

- Хорошо. Спросил, и спросил... Спокойной ночи.

- А будет совсем скоро доброе утро.

Как Юрий Каменский манной кашей закусывал

На Загорной жить весело, женщины заботятся. Дед хороший. Но Тимка не каждую ночь дома. Тогда без него неудобно: кто ты такой, чтобы на хлебником сваливаться на голову чужим людям?

Народ толпится.

Уроки готовить сложно, рояль помеха. Уроки для Юры – жизнь. Учиться надо, чтобы жить дальше.

Медаль, хоть из шкуры выпрыгни, не дадут. Но получить аттестат с хорошими оценками от меня зависит. *Не от них.*

Две ночи прожил он у Тимки, а на третий день Тимофей нашёл угол, там обитает Петя Харьюзов, дальний-дальний родственник Вороновым. Он медик, учится на первом курсе. Родичи далеко, Петька – одинок, а человек солидный, студент. Квартира почти пустая, заниматься можно. Чего ещё желать?

С жратвой не всегда получается, у Петьки деньги водятся редко.

Однако полуголодное существование – залог здоровья. Так, Петька говорит, в мединституте учат. Есть мало – жить долго.

А какая разница – жить мало или жить долго? Главное, выучиться, чтобы не пропасть. И быть врачом. Другие могут заниматься иными делами. Мне – лечить людей. Это на роду написано... А жить долго Юра не надеется.

- Но исключить долголетие никак нельзя, - так философствует Петька.

Свобода полная: ни тётки Нюси с её ворчанием, ни дурковатых старушенций Власьевны с Митревной и Глашкой-девочкой в придачу, ни рояля, за душу берущего...

И вход отдельный. И кровать своя, не сундуки какие-то. И не на полу валяться.

В первый день ели, можно сказать, от пуза. Старшая Петькина сеструха Грунька, погостила в отпуске и отъехала обратно в гарнизон к мужу, оставила братику жратвы, сколько смогла и сколько посчитала достаточным.

Жить можно.

Весь десятый класс Юра кое-как проболтался по разным закоулкам города. Потому что Петькина сестра Грунька в очередной раз сбежала от мужа. В родном городе искала новых

дружков. У себя на милой родине и нашла. Где же ещё? К огорчению местных товарищей, выбор пал не на земляков, а счастливец после нескольких визитов на Грунькину хату сделался мужчина, командированный из Калининграда.

Петьку засунули куда-то к ещё одной родне. Юрию там места не нашлось. Он с Петькой в тот год и не виделся.

К лету, как подошла Юрию пора поступать в абитуру, Грунька смылась, квартиру опять получил Петька. Всезнающий Тимка, прежде чем явился на обмыв, разыскал Юрия, привёл. Ну, ясное дело, Юрий опять за Петькину хатёнку и зацепился.

Тимка звал Петьку Петрухой. Юре нравилось.

Из Юркиного класса три мальчика на приписке в военкомате утвердительно ответили на вопрос, хотят ли в военное училище. Юрка загорелся – тоже захотел. Перед военкомом стояли после врачебного осмотра в чём мать родила. Дрожь пробила – холод, волнение, стеснительность. Отметки в аттестате у Юрия лучше, чем у всех остальных. На медаль его не представили, математичка нарочно придиралась, пятерки не ставила, а тройком едва не наградила. Классная руководительница на педсовете его едва отстояла. Самой чуть боком не вышло, но у неё муж работал в органах, поэтому математичка раз рыпнулась, другой рыпнулась, а дальше уже и выпуск подоспел.

Военком смотрел в стол. Поднял глаза, разговаривал со всеми на «вы». И говорит:

- Оденьтесь, зайдите ко мне на приём. Завтра в одиннадцать.

Ночью сна не было.

Пришёл. Военком сидит над его личным делом. Листает. Смотрит в лицо по-честному. Начинает издали. Зачем именно в военное училище, да что там ищет, да не лучше ли ему быть штатским человеком, на гражданке тоже кому-то надо служить Родине.

Юрий, стоит признать, развёрнутую аргументацию своего желания служить всю жизнь в армии представить затруднился.

Военком закурил. Но человек, видно, неплохой попался. Затянулся папиромой, выпустил дым, вроде лицо немного спряталось.

- Вы не пройдёте мандатную комиссию. У вас родители – сами знаете, что с ними. Доверить вам носить офицерское звание мы не можем. Всего хорошего. И задумайтесь над тем, какую гражданскую профессию желаете получить.

Вежливо так и повторил:

- Мы вам не доверяем.

И посмотрел прямо, не в стол. И замолк.

И всё.

Юрий думал: чем-то этот военком расстроен. Не моим же несчастным происхождением. Четыре планки орденские, ни одна не повторилась. Многие к фронтовым делам равнодушны, а Юрий ценит чужую доблесть. Военком к нему быть злым вроде не должен. Но и выказать доброжелательность тоже не может. При всех смотрел в стол, назначил ему приём, нет, чтобы сразу отказать, и никаких разговоров. Он позвал.

Больше этого военкома Каменский никогда не видел. Осенний призыв следующего года прошёл уже без повестки ему: студентов не призывали.

...Вторую неделю не было денег. Чем жили – одному Богу известно. Доели Грунькины припасы: ведро картошки, трёхлитровую банку солёной капусты, три банки паштета из частичковых рыб. Оставленные от Груньки и после Тимкиных визитов бутылки все до единой, обтерев от пыли, вынесли в ларёк, на выручку хорошо погужевались. В смысле – поели, удваивая все блюда, в столовке. И только.

Петька третьего дня нечаянно подстрелил у знакомого сколько-то рубликов. Взяли хлебушка, тот же сладковато-солёный паштет из частичковых рыб, на рынке ведро картошки, в угловом магазине пачку рафинада, в других лавках сахар не везде водится, ещё чего-то. Много-то брать не больно разбежишься. Перцовку на всякий пожарный случай. В столовку сходили.

До стипендии оставалось больше недели. В институте позанимали – под завязку, ни у кого у самих больше нет.

Юрий прибежал из института. Петька был дома, спал.

- Петька, спишь?

Петька проснулся.

Юрий сказал:

- Жрать хочется, аж губы трясутся.

- Там ещё, Юр, хлебца чуть-чуть осталось.

У Петьки круто обозначились над впалыми щеками точёные скулы. А вообще он был приспособлен к лишениям – основательный, плотный, как из камня тёсанный. И Юра поневоле вынослив: тощ от природы, жилист, носат. Если нужно, сто километров с грузом пройдёт, шмыгая носом, и не присядет.

Юра налил из ведра чистой воды. Петька, молодец, утром принёс из колонки.

Юра включил плитку, разогрел воду, выскреб из опустелой пачки несколько чайнок, пустил в кипяток на заварку. Попил, поел. Молчал. Смотрел, как Петька одевается – на синюю, ветхую майку натягивает чистую, белую шёлковую рубаху. Петька в одежде аккуратен, стирает, гладит, имеет целых пару смен одежды. Юрий – душа нараспашку, грудь расстёгнута, пуговицы где уже оторвались, где ещё повисли на ниточках, пришить некогда, стирать грязное уносит в коммунальную прачечную...

За досчатой переборкой громко тикали часы, стучали ложки, слышно, как шептались соседи, выказывали недовольство: у Груньки опять, мол, пить собираются, девок наведут, будут колготиться до утра, сами не спят и другим не дают.

Дурни соседи, живут, ничего возле себя не видят: Грунька давно испарилась, забрала нового мужа и махнула на запад, в дальнюю точку нашей страны, в Калининградскую область. Да и хоть с ней, хоть без неё – Петьке с Юрием не до разгула.

Тимка нутром почуял – налетел на перцовку. Полбутылки Грунька не оприходовала, ребятам наказала: вместо йода раны обрабатывать. Какие раны, не сказала...

А у них ещё бутылка – на всякий пожарный. Тимке подарят. На Загорную. Для деда.

Тимка отдувается, пыхтит: вот с вами кусну водчонки – и от питья отстану. Завяжу с питьём, возможно, и надолго. А то давеча чертовщина примерещилась: по лесу, по чаще бежит трамвай без рельсов и без колёс, звон, голоса неразборчивые грозятся, прилетели чёрные птички, у них рожки наметились. Быстро мелькнуло и пропало, как ветром сдунуло. Страшно, что повторится.

- Чёртики тебе мерещатся, - флегматично подсказывает Петька. - Допьёшься до того, что придут и больше не отстанут.

- Да не всегда. Один раз всего и было. Секундное дело, Петруха... Сейчас при вас вот нет совсем. Дайте опохмелиться – и уйду в завязку. Плесни-ка, Юрочка!

Ну и ладно. Что хорошо у Тимки – когда ему приспичит выпить, к другим не пристаёт, относится с пониманием: у ребят свои заботы, учёба – не баран чихнул. Трезвой головы требует. Это осознавать надо.

Юрий заметался – опять бы унырнуть в библиотеку. Во всех скитаньях, в трущобах, в бардачной, тяжёлой пропасти, светлая точка не даёт пасть духом, манит возможностью засесть в тепле, при добром освещении, с книгами, которых в изобилии, каких только захочешь. Они – взамен семьи, они – убежище, спасение для страждущего, терзаемого лихорадкой мозга среди уважительной тишины, среди покоя.

Да вот несчастье – библиотека на выходном, сегодня туда хода нет.

Петруха дорогу в жизнь прокладывает по-иному. Перво-наперво надо в желудок чего-то кинуть. Тело большое, тренер, как начнёт ругаться, укоряет: «дурное мясо» не подождёт. И ох как прав тренер: достаточная еда придаёт уверенность, удовлетворённость, яснее будущее, руки по любви тоскуют: без женщины, как без денег.

А без денег – сами догадаетесь, как без кого.

И он снова мысленно перебирает варианты, словно стоит с указкой у плана города, проникает в самые отдалённые углы. Обозначаются полузабытые связи, в дремучей паутине памяти сверкают по-волчьи глаза людей, у которых наверняка есть деньги. Да где ж вы до сих пор ходите, от меня прячетесь?

Существует, по меньшей мере, одна особа такой направленности. Не виделись четыре года, но это мало что значит. Она богатая, на заводе при должности, к тому же шьёт – домашняя портниха.

Адрес всплывает в голове, как тут и был.

Они миновали улицу Герцена с ее длинными заборами и готическими домиками, свернули на задние дворы, вышли по буеракам на Тверскую, миновали и её, и упёрлись в трамвайную линию. Пётр придержал Юрия за локоть. Дом, где жила (а может, и теперь живёт) знакомая Петру женщина, деревянный, двухэтажный, на каменном цоколе, он весь оброс сосульками, как ёлка иглами.

У дома из-под крыши вытекал пар, и падали на землю светлые, как надежда, крупные капли.

И длинный, длинный коридор был из конца в конец пронизан солнцем. Когда Пётр, а за ним Юрий, ворвались туда, висевшее вдоль коридора на верёвке бельё от ветра и солнца надулось парусами, захлопало от поднятого ими ветра, зашелестело, пахнуло домашней свежестью.

Самой интересной тряпкой на верёвке был серый, видимо, прибалтийского происхождения, свитер. Юрка походя с пренебрежением толкнул плечом дорогую вещь, она качнулась и снова застыла, обвиснув шерстяной, мокрой тяжестью. Пётр остановился перед обитой драным войлоком дверью. Сверху, над ключьями обивки, красовался прищандоренный к двери новенький почтовый ящик, оттуда торчала свёрнутая вдвое газета.

Петька сдвинул на затылок шапку. Светлая прядь пробежала по высокому белому лбу к бровям.

- Кажется, здесь, - с натянутой улыбкой сказал он и тихонько стукнул по необитому косяку. Никто не отвечал. Пётр постучал опять, громче. Постояли. Никого.

- Стучи как следует, Петька, - сказал Юрий. - Чего застеснялся? Пришли, так надо попасть.

Пётр толкнул дверь, она подалась, вышли в коридорчик, из него ещё одна дверь, стукнули туда, сильный мужской голос пригласил:

- Входи, кто там есть.

За столом над миской с лапшой сидел угрюмый, голый по пояс, замысловато татуированный мужчина. У плиты хлопотала женщина – ноги без чулок сунуты в обрезки валенок, на плечах нитяной платок с нарисованными розочками, волос мало, все в шпильках. Пахло сытно – мясной лапшой, пирогами. Кадык у Юрия заходил поршнем.

Швейная машинка Зингер с ножным приводом стояла в стороне, у окна.

- Здесь Архангелогородцева проживает? - спросил Петруха, адресуясь одновременно и к мужчине, и к женщине.

- Вот она, - хмуро процедил татуированный, ткнул ложкой по направлению к плите.

Женщина избоченилась, глянула прямо, бровь подчернённая, ломаная.

- Не узнал Севастьян своих крестьян. Я Архангелогородцева, Петя.

- Здравствуй, Зоя. Правда, не узнал. Прости, пожалуйста.

- Богатая буду.

- Наверное. Всё шьёшь?

- А что делать? Жить как-то надо, Петя.

- Хорошо, кто бы спорил? Надо, так надо. А ведь мы по делу.

- По делу, так по делу. Садитесь обедать с нами, гостями будете. Товарища не знаю, как звать. А это муж мой. Котя, знакомься. Это Константин. А это Петя, брательник мой троюродный. Выпить, ежели хотите, так не держим. Непьющие.

Пётр покосился. Мужчина жевал. Глядя в миску, мрачно жевал, необщительно.

- Будем знакомы. Очень приятно. Я Пётр, моего друга Юрой зовут.

- Очень приятно. Поужинаете?

- Спасибо большое, мы только что из столовой. Наелись. Проведать зашли. Неудобно как-то – родные вроде, а так долго не видимся.

- Проведать или по делу – чтой-то я тебя понимать разучилась, Петя.

- По делу, Зоя, по делу.

- Здесь говорить будете или в коридор выйдем?

- Да лучше в коридоре, А то мы товарищу кушать мешаем. Вы нас извините, товарищ.

Перебивать аппетит – последнее дело, по себе знаю.

Деланной многоречивостью Петруха как мог сбивал возникшую неловкость, Но просить денег при этом Константине, «теперешнем», было рискованно.

Мужчина головы не повернул. Жевал себе и жевал.

Зоя запахла шаль потуже.

Вышли.

Пётр стал нести околесицу насчет Тимофея, геологоразведки, где задержали зарплату, а то бы не одолжался. Сказал по поводу писем и переводов из дома, которые не приходят на почту, задвигал байки, наплёл ещё невесть какой ерундовины.

Зоя не перебивала. Ждала, когда спросит, и он спросил:

- Муж бьёт?

- Я как бы сама ему не наподавала. Непьющий же, чего бы стал драться? Петь, я его брошу, ты только скажи. Мне с тобой, как ни с кем, хорошо было. Котя не смотри, что бугай, весь больной, слабый. Спросишь, чего живу. Так жалею ж. Он мне машинку зингерскую починил. Ну, и остался. Держу мужика в доме, за неимением ничего другого. Пить не даю. Просит – не позволяю. Сказала – иначе выгоню... Ты вот потерялся... Извини, что в братовья тебя записала...

- В троюродные...

- Без разницы. Коте мои братовья не помеха. Он хоть и не в силе, а ревнивый.

- А с деньгами у тебя как, Зоя? Нам бы перехватить ненадолго, потом рассчитаемся.

- Денег, ты не поверишь, нет ни копя. Утром пришла тетя Луша. Принесла мулине, ей с Севера присылают, у неё только и беру. Последние копейки насобирала и ей отдала. Прости, коль сумеешь. О деньгах забыла, когда они в доме водились. На Котю всё трачу, всё до копя, поверь. Его и кормить надо, и одевать после лагеря.

- А мы думали у тебя занять. До Тимкиной получки или до моего перевода...

- Денег не найду, Петя. При всём желании. Вот свитерок, возьми. Продашь, сколько-то денег за него получишь.

- Так он же тебе самой пригодится.

- А я ещё сошью, Коте он всё равно не понравился.

- Заругается...

- Ничо, Петя. Перетерпит, я быстро сгоношу ему обновку. Лучше этой... Бери, пока не раздумала.

Взяли.

Простились.

Зоя, качнув худым плечиком, ушла за войлок.

Пётр запихнул свитер под куртку. Поёжился:

- Мокрый.

- На тебе просохнет, - утешил Юрий. - Пошли быстрее. А то Котя с кулаками выскочит.

- Зойка ему спуску не даст, не бойся.

Шаги усилили. Чувствовали, что совершили что-то не совсем хорошее, вроде нужную женщине вещь за просто так выманили. После трамвайных путей, петляя по переулкам, почти бежали. Возле бани присели на лавку. Петруха поудобней устроил влажный, от тела потеплевший свитер.

- Теперь надо подумать, кому бы его загнать, - сказал он.

- Через два дома отсюда живет Буторин. Купит.

- Как думаешь, сколько возьмём?

- Чёрт его знает, сколько такое барахло стоит. Рублей сорок?

- Сказал! Да сотни две, не меньше.

- Ну, пошли скорее!

Буторин – человек с бурыми шрамами на щеках и под мясистым подбородком, неясный тип, сам вроде как не сильно молодой, а не разобрать, может быть, уже и состарился – хихикая, долго мял свитер толстыми пальцами, глядел на свет – то на тусклую, засиженную мухотой лампочку, то подходя к окну. Продавцы терпеливо сидели у стены на лавке.

- Полста, - наконец сказал Буторин. - Ношенная вещица.
- Давай сюда, - раздражённо потребовал Юрий. - В другое место понесём.
- Ну-у!.. Ну, ну, ну, ну, сразу и в другое место!

Глазки у Буторина замаслились, подбородок зашевелился. Шрамы ещё прибавили краски.

- Сколько же сорвать хотите? Вещь-то не ваша, ещё сырая от стирки. Ась?
- Ась да не лазь, - осадил его Петруха, потянул свитер к себе.
- Десятку прибавлю, - не выпуская вещь из рук, пообещал Буторин.
- Черт с ним, Петька, - смалодушничал, чтобы скорее закончить торг, Юрий.
- Сто пятьдесят, - предложил Петруха.

- Ох, ребяташки, совсем старика разорить решили. Только вот беда – денег дома у меня всего девяносто.

- А остальные?

- Послезавтра мне долг отдадут, тогда рассчитаемся. Берите авансом. И литр водки. Есть у меня в подполе спрятанный от друзей-товарищей.

- В первый раз, Юрка, такого жмота вижу. Ну и друзья у тебя. Ладно, пусть тащит. И весь аванс, он же и получка. Второй раз сюда ходить – замучаешься.

Буторин хихикал, мял свитер, медлил.

- Давай грóши. И водку на стол, - требовал Петруха.

Опять потянулся отнять свитер.

Буторин мятыми бумажками отсчитал девяносто пять рублей, показал пустой кошелек

- Жмот, - только и сказал Пётр. - Водяра где?

Буторин полез в подпол.

Водрузил на стол две бутылки водки ценой по 21.20. Пётр заметил:

- Сучок⁷, я так и думал. Жмот!.. Пользуется чужой нуждой и выжимает из студентов последние соки.

Буторин, от греха подальше, откинул свитер на кровать.

Поставил стаканы, кружку с водой. В кастрюле у него была загустевшая манная каша, нарезанная кусками.

- Греть не будем? – с надеждой спросил Буторин.
- Зачем? И так сожрём. Ты бы хоть масла добавил, жмотяра!..
- Масла? А пожалуйста! Почему нет? Вот.

Плеснул подсолнечного масла. Белые куски пожелтели.

Выпили, глотнули кашу. Пили воду, жевали.

- Ещё вода есть? - спросил Пётр.

- В коридоре, в бочке.

- Неси.

Буторин с кружкой ушёл в коридор.

Свитер прихватил с собой: за покупку уплачено, однако ребята лихие, ухватят, чего доброго. Бережёного Бог бережёт.

Юрий взял не начатую бутылку, опустил в карман.

- Тимке. Пошли, Петька.

Буторин не успел в комнату зайти, Петруха оттолкнул его локтем.

- И водку взяли? - уныло спросил Буторин.

- Нет, тебе оставили!

⁷ Сучок – неочищенная, самая дешёвая водка. (Прим. автора)

В горле у Юрия стоял отвратный вкус водки-сучка и буторинской, резанной в куски манной каши с несвежим маслом. От этой мерзости тошнило. Жизнь представлялась поганой, ядовитой, как сучок и гнусная каша, и постное масло.

Вспоминалась мать. Увиделось: грузная, пожилая, одышливая, всяко несчастная... В строю, с лопатой, бредёт она под мелким дождиком, с трудом выдирает ноги из грязи, такой же гнусной, как буторинский манник, больные ноги в пудовых чоботах. Бесконечна дорога, тяжёлый путь матери, нет впереди светлого окна в коридоре. Темно.

Привиделась вслед за тем буторинская рожа, красная, рябоватая, с прыщами и с выпуклыми шрамами, поросшая не густым, дурным волосом.

Глава шестая. Так что же такое Тверь. 1952 - 1957

Проводы в институт. 1952, август

Пегая малорослая лошадь, длинными, острыми ушами больше похожая на осла, у закрытого шлагбаума на переезде встала с пустой телегой поперёк дороги – никак не перескочишь. Вплотную за телегой подтянулся заляпанный бетоном грузовик, тащились ещё машины. Поезд медлил.

Лёвик тронул отца за рукав спецовки:

- Так можно прождать до будущего года.
- Минутку повременим. Торопись, но медленно.
- Мы опоздаем, папа, наш поезд уйдёт...

Так дёргал отца, а он не поддавался. Протарахтел грузовой состав, открыли шлагбаум, очередь из машин пробежала. Лошадь с телегой, отец и сын всех пропустили. И только когда истаяло последнее бензиновое облако, они пошли, и времени ещё оставалось с лихвой.

Отец не успел переодеться со смены. Но тщательно проверил, всё ли взято и хорошо ли упаковано. Потом поднял и понёс фанерный чемодан с закруглёнными углами и крышкой, который подарил сыну-студенту. Лёвик взял рюкзак. На вокзале, пристроив в вагоне вещи, вышли в тамбур, там было большое стеснение, спустились к толпе на перрон. Отец повернул сына к себе, взял за локти, всматривался в лицо... и вдруг неожиданно всхлипнул. И заплакал. Никогда такого не было, даже когда мама долго, тяжело болела, он возил её в Москву на операцию, потом болезнь нарастала, видеть это было тяжело, отец и над могилой удерживался от слёз, приказал: «На колени!», и они оба отделились от провожающих и опустили на колени. Потом все кидали землю в яму, на гроб, и Лёвик был уверен, что мужчины никогда не плачут. Женщины могут, мужчины, и с ними отец – нет.

А тут прослезился. И вымолвил:

- Жаль, наша мамочка не дожила.
- Жаль, папа. Очень жаль...

Отец притих. Лёвик молчал. Потом отец заговорил снова. Наставлял, словно в последний раз. Будто мамочка незримо была рядом.

- Смотри в оба, сынок. Будь умницей. Веди себя хорошо, учись основательно, это главное. Учись всему, что даёт жизнь, ни от чего не отворачивайся. Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя прозрел. Писателем ты, может быть, и не станешь, не у всех получается. А врачи нужны всегда. Полюбишь профессию обязательно. Узнаешь – полюбишь... Не ленись учиться. И если что-то не заладится, помни, что у тебя есть батька. А я, пока жив, постараюсь, чтобы мой сын ни в чём не знал нужды и мог учиться без особых затруднений.

Лёвик его обнял, отец успокоился, заговорил о другом.

Отцу не хотелось продлевать невыносимое время перед расставаньем, он стал прощаться минут за пятнадцать до сигнала к отходу поезда. Но не уходил до самого того момента, когда прозвучал колокол и проводница стала загонять пассажиров. Тогда очень крепко обнял сына, несколько раз поцеловал, и сын обнял папу, и тоже поцеловал, но как-то не так сильно: наполовину уже был в пути. После очень жалел, что тогда на вокзале не уделил отцу больше тепла: отец выглядел одиноким, заброшенным, непривычно слабым.

Но как только возбуждённый, суетливый перрон со всеми его поднятыми руками с платочками и без них, с обращёнными к вагонным окнам лицами, зарёванными или наоборот улыбающимися (и у отца рука поднята), уплыл вдаль и потянулись полные цветов поляны и бесконечный лес, мысли о доме стали отодвигаться среди подступавших новых впечатлений. Чётко выступило в сознании выражение Льва Толстого: «Первую половину пути человек думает о том, что оставил позади, а вторую – о том, что ждёт впереди».

Вторая половина дороги подступила внезапно, под стук колёс и появление вместо школьных приятелей и привычного быта случайных спутников из переполненного плацкартного вагона.

Первая лекция. Меч Парацельса

Перед началом учёбы Семёнов, как и другие первокурсники, получил в деканате расписание занятий на семестр, отпечатанное типографским способом на большом листе зеленоватой бумаги. Слово *семестр* – первое институтское, взрослое, которое предстояло усвоить, вторым было слово *лекция*, третьим *сессия*. Ещё: *аудитория*, *кафедра*, *коллоквиум* и *семинар*.

И, на сей миг главное, *профессор*.

А слово *урок* вслух никем не произносилось, и, видимо, такое слово надо забыть.

В расписании указывалось, что занятия начинаются с лекции по неорганической химии.

Новичок не представлял себе институтской жизни, о будущей профессии имел самое отдалённое, почтительное, как у отца, строителя, представление.

Живого профессора Лев никогда не видел.

Нетерпеливо ждал, вот-вот задрожат руки.

Одна за другой три двери были открыты. Народ туда входил и входил.

Он заглянул в первую дверь.

В протянутой вдаль комнате, за длинными пюпитрами, на тесно установленных скамьях без спинок сидели (по деканатскому счёту) 150 мужчин и женщин, последних в общем числе много больше. Он разглядел в толпе по крайней мере троих немолодых мужчин в гимнастёрках без погон, но с наградными планками. Четвёртый, самый пожилой, одетый в костюм с галстуком, и тоже с планками, держался, как могло показаться, стеснённо среди молодежи, хотя вообще-то напоминал скорее не ученика, а учителя. Рядом с ним сидела полуседая женщина. Были и другие, совсем взрослые женщины – по годам, наверное, такие же, как его учительницы в школе...

Утешало всё же, что большинство составляли сверстники.

Семёнова в школе лучше всего устраивала последняя парта. По крайней мере, в затылок никто не дышит.

И здесь избрал то же самое.

Рыжеволосая девушка, что сидела рядом с ним, уверено объяснила, каково назначение одной из трёх дверей:

- В первую дверь вступит лектор.

Понималось так: вторая дверь была открыта для всей толпы, а третья, задняя, предназначена опоздавшим и тем, кому всегда и всюду удобней сидеть позади остальных.

Помещение сквозило солнцем и словно гудело от напряжения. Студенты рассаживались за пюпитрами, взволнованно говорили, смеялись. Заранее назначенные институтским начальством старосты групп, вставая, выкликали подчинённых. И рыжая соседка стоя прокричала все фамилии с именами, что у неё на листке записаны. И от неё наконец прозвучало:

- Семёнов Лев!

И он, услышав о себе, тоже, как и другие, крикнул:

- Я!

Свою фамилию рыжая возгласила сразу после Семёнова:

- Такменинова Стефания! Здесь.

И села, всё прочитав. Спросила:

- Мы с тобой в одной группе. Я староста. Ты не против?

- Не против. Пускай.

Волнуясь, он поглядывал на часы, рыжая староста тоже часто высматривала, как идёт время. А лектор всё не появлялся. На галёрку протиснулись трое высоких парней, свободно уселись. Сообщили, что они старшекурсники, пришли, чтобы посмотреть на пополнение института, кое-кого и просветить насчёт студенческого будущего. Один, с блестящим красноватым носом, предупредил:

- Сейчас Бородкин будет рассказывать те же анекдоты, что и каждый год.

А сам, не обращая внимания на общий гул в аудитории, взялся знакомить молодёжь с медицинскими былями, хотя вроде никто и не просил. Истории были напичканы некоторыми странными словами, содержащими намёки на что-то взрослое, быть может, для обычных людей не вполне приличное, но медикам в самый раз.

- Профессору офтальмологии в день рождения студенты преподнесли портрет, где его голову изобразили внутри глаза. Профессор и спрашивает: а как бы вы изобразили меня, если б я был гинеколог?

Рыженькая усмехнулась, хмыкнула, но промолчала. И Лев не рискнул спрашивать, кто такие *офтальмолог* и *гинеколог*. Было непонятно, что тут смешного. Тот, с необычным носом, посмеиваясь, разъяснил: подожди, познаёшь медицину, сам станешь травить медицинские анекдоты.

Спутники рассказчика тоже сообщили каждый по истории. Обе о *небрезливости*, качестве, необходимом для врача, а потому усваивать которое нужно с первых дней обучения медицине. В одном анекдоте профессор обманул студента, во втором другой студент исхитрился разыграть другого профессора.

Потом тот, что с необычным носом, почему-то обращаясь только к Семёнову, предупредил строгим тоном:

- В институте учатся. А хулиганить нельзя.

Будто кто-то пришёл сюда не учиться, а хулиганить. Таких же нет, наверное.

И все трое исчезли, махом, как и появились. Рыженькая спросила:

- Не знаешь, зачем приходил сюда заместитель секретаря комитета комсомола?

- Это заместитель секретаря?

- Ну да, заместитель секретаря, работающий. Его все знают. Он каждый год приходит на первую лекцию. Потом удаляется.

- Здóрово.

- На тебя глаз положил. К чему бы это? Запоминал?

И Семёнов не понимал – к чему?

Оказывается, не все первокурсники начинали институтскую жизнь с нуля. Кое-что знали заранее.

- А нос у секретаря знаешь почему такой красный? - сказала она. - Потому что обмороженный. Он на лыжах с гор катался, а там солнце и мороз, вот и... - Не досказав, приложила палец к губам. - Затихаем!..

В первую дверь важно (с галёрки показалось, что важно) вступал пожилой мужчина в белом халате. Зал понемногу стихал. Встали, профессор махнул рукой, все опустили на лавки.

Профессор Бородкин водрузился за столом, установленным на возвышении. Грузноватый мужчина в очках, волосы на лоб наступали треугольным седым ёжиком. Из того, что он рассказывал, многое запоминалось сразу и намертво. Не важно, повторял ли Бородкин свои истории из года в год или обновлял их. Предмет оставался всё тем же, и очередные первокурсники всякий раз слышали новую для себя лекцию.

От профессора Бородкина, не от кого-то другого, студенты уже в первые институтские часы узнавали, что в средние века на земле жил гениальный ученый, сумевший проложить принципиально новые дороги в медицине. Его звали Филиппус Ауреолус Эрастус Теофрастус Бомбастус Парацельсус фон Гогенхейм, а для удобства произношения - Парацельс. Он был первым *иатрохимиком*.

- *Иатрос*, по-гречески, врач, - разъяснял Бородкин. - За сорок девять лет, прожитых им, Парацельс многое успел. Прежде никто всерьёз не рассматривал жизнедеятельность организма через изучение идущих в нём, организме, химических процессов. До Парацельса об этом мало кто догадывался, а вот *наш* Филиппус Ауреолус взял и свёл все явления в организме – и нормальные, и патологические, болезненные – к химическим! Заболел человек, это значит, нарушились у него в организме химические процессы? Разве не так? - спросил Бородкин, и одинокий голос откуда-то из начальных скамей понятливо отозвался:

- Конечно, так.

- Хорошо. Двинемся дальше. Надо поправить и подправить природу, указывал Парацельс. И фармацевты, приготавливая лекарства, отныне стали оглядываться на открытия уважаемого Бомбастуса фон Гогенхейма. Однако обольщаться не приходится. В энциклопедии вы прочтёте следующее: система Парацельса являет из себя сочетание мистических воззрений со светлыми мыслями. Нетрудно догадаться, что в двадцатом веке мы, просвещённые люди, мистикой увлекаться не будем, а изучая химию, станем приобретать исключительно одни светлые мысли. Разве не так должен поступать современный иатрос, то есть врач? - снова с нажимом, озабоченно справился у зала Бородкин.

Из первых рядов послушно, уже в несколько голосов, подтвердили:

- Так!.. Так...

Рыжая доверительно шепнула:

- Хитрый. Будто сам не знает.

И опять приложила палец к губам, показывая, что отвечать не надо. Потому что профессор не останавливался:

- Хорошо, - продолжал профессор. - Спрашивается, правильно ли поступил Парацельсус фон Гогенхейм, предлагая миру свою теорию? Вот вам пицца для раздумий и выводов на всю вашу жизнь в медицине.

Вы спросите, чем славился Парацельс как человек? Да тем, что обладал блестящим полемическим даром. Плюс - имел неукротимый темперамент. Всегда был готов сразиться с научными противниками на умственном диспуте, а, если надо, то и с применением холодного оружия. Лекции он читал, обряжаясь в рыцарские латы и опираясь на тяжелый меч, демонстрируя тем самым, что в любой момент готов к отражению атаки своих научных противников.

- Можно сказать, что в некотором смысле мы все – врачи, химики – последователи Парацельса. ***Птенцы Парацельса!*** - сказав эти слова, Бородкин поднял вверх указательный палец, подержал и опустил вниз.

Бородкин, большой, дружелюбный, стриженный седоватым ёжиком, чем-то напоминал описанного им героя, только вместо средневековых доспехов носил белый халат, а взамен меча держал в руках обычную указку и наводил её на нужные точки в таблице химических элементов, что висела на стене позади широкой кафедры, за которой расхаживал читавший лекцию профессор.

Все (и Лев, и рыженькая тоже) сидели, затаив дыхание, поражённые фигурой Парацельса, опиравшегося на меч.

Профессор сделал паузу и продолжил:

- Не знаю, как насчет врагов, но злые языки утверждают, что стоять без меча ему было бы очень трудно. Филиппус Ауреолус Бомбастус часто бывал пьян.

Профессор широко улыбался, словно предлагал оценить его шутку по достоинству. В зале раздались одобрителльные смешки.

- Поэтому подражать ему в этом его свойстве мы не будем.

Бородкинские лекции сопровождались демонстрацией опытов. На кафедре расставлялись колбы, штативы с пробирками. В стеклянных посудах смешивались отмеренные в мензурках жидкости, вот они розовеют, делаются зелёными, голубыми, жёлтыми. В зале пахнет то порохом,

то одеклоном, то тухлым яичком. По длинным стеклянным трубкам, булькая, волнами катятся пузырьки газа.

Профессор понятным, не перегруженным терминами языком делал пояснения.

В химических лабораториях у Бородкина студенты с увлечением расписывали на листках формулы, похожие на математические уравнения, взвешивали на аналитических весах кристаллические порошки, действовали на кислоты щёлочами, на щёлочи кислотами...

Изучаемые разделы Бородкин для удобства запоминания (о чем он заботился), называл *качан* и *количан*, что означало качественный анализ и количественный анализ.

В школе химия не состояла в числе первостепенных предметов Семёнова. Он любил решать задачи как по химии, так и по и тригонометрии, не более того. Подобные занятия проводились и там, не вызывали особого отторжения, но от медицины казались далёкими, как свет небесных тел.

Лев Семёнов долго не мог прийти в себя после впечатлений от первого знакомства с институтским курсом через профессора Бородкина. *Качан, количан, Парацельс, иáтрос...* И разноцветные жидкости в колбах на высоком столе в аудитории. Куда больше? Оказалось, есть куда. После того, как он поучаствовал в войнишке на мостике, вжился в быт 43-й комнаты на Тверской, получил и удачно исполнил первое редакционное задание, предмет Бородкина вместе с образом профессора значительно подвинулся в его воображении. Надо было заниматься зубрёжкой, но время не всегда оставалось.

- Злокачественно не хватает времени, - со знанием дела объяснил Юра Пашутин, человек с парадоксальным движением мыслительного процесса, в ходе *дебатов* на Твери, в 43-й.

Поэтому через четыре месяца, в зимнюю сессию, Лёвик, увы, не порадовал дяденьку профессора отменными знаниями.

... Вот он берёт билет со стола Бородкина. *Фтор*. Из галогенов Семёнов знает кое-что о йоде – коричневом и жгучем дезинфектанте... Маловато? Добряк Бородкин, глянув на записи в его листке, ухмыльнулся и басовито молвил:

- Что это вы, юноша, занимаетесь геологическими изысканиями на менделеевской таблице. Вы же на лечебном факультете, а не на геологоразведочном. А?

Семёнов молчит. Сказать нечего.

- Хорошо ли вы спите? - участливо спрашивает профессор. - Ничто не мешает, никакие заботы не отвлекают от изучения галогенов?

- Сплю, - выдавливает из себя студент, чувствуя подвох.

- Бывает, - раздумчиво поясняет профессор, - одолеют заботы, сон портится. И что вы примете сами, какое лекарство? И больному что пропишете?

Молчание становится невыносимым. И профессору так же кажется.

- Из галогенов же – что? Бром же, микстуру с бромом! - торжествуя, возгласил Бородкин.

И умолк.

И прогнал.

Девушки – группа во главе со старостой Такмениновой – не смирились, и толпой ринулись уговаривать профессора:

- Не знаем, что с ним случилось. Такой способный... Школу с медалью кончил. Серебряная медаль...

- С медалью? - озадачился Бородкин. - Серебряная медаль?

- С медалью! - обрадовано заверещали девушки. Пускай профессор сжалится. - Его же из института выгонят. Одного из двух мужчин в нашей группе.

- Выгонят? - продолжал вникать в проблемы группы Бородкин. - Одного из двух?

Бородкин ещё не успел испортить зачётку *неудом*. Зачётка пока лежит перед ним на столе. Такменинова, наизготовке, вот-вот выхватит её из рук профессора. Вечная ручка с пером повисает в воздухе, девушки замирают.

- Хотите, чтобы он был должен не мне только, но и вам?

И Бородкин выводит «*посредственно*», расписывается. Сгоняет с лица улыбку.

И предупреждает:

- У него впереди больше тридцати экзаменов, присматривайте за ним. Оставлю вам почти единственного мужчину. Пусть поучит химию, подойдёт, спрошу про *качан* и *количан*. А пока... пока... авансом, на исправление...

В 43-й Кремень изощряется:

- У Бородкина надо быть последним олухом, чтобы сдать на тройку, не то что завалить насовсем!.. Я вообще не понимаю богатых наследников, которые добровольно отказываются от стипендии...

К сожалению, с той памятной минуты капитал авторитетности, нажитый серебряной медалью, иссяк безвозвратно.

А впереди, действительно, предстояло открыть ещё десятки дверей в институтских помещениях.

Всё-таки пропорция мужчин и женщин среди учащихся в вузе составляла на последнем курсе один к десяти. Остальные выпали в *отсев*. Возможно, этим объясняется доброжелательное авансирование нерадивых студентов на теоретических кафедрах.

Урок: непутёвый Лёвик осознал, что Парацельс, грандиозный не только по имени, в его лице прямого наследника ещё не приобрёл и, возможно, даже и не получит. И что снисходительный профессор Бородкин аспиранта наверняка не обретёт.

Аспиранта-химика – нет. А вот насчёт меча надо подумать. Отстаивать свои взгляды, и ради того иметь голову не пьяной, а трезвой – это должно получиться.

Иван Снегирёв у Бородкина отхватил четвёрку. Причин может найтись несколько. Или билет посчастливей попался, или сработало усвоенное и с наслаждением продекламированное Ванечкой Снегирёвым имя *Филиппус Ауреулос*... Или помогло проживание в одной 39-й комнате (более спокойной, чем 43-я) с пожилым эрудитом, иногда по ответственным дням (сессии) надевавшим костюм с орденскими колодками и галстук: это Георгий Матвеич Евлампьев, поступивший в вуз в запредельном возрасте. В его тридцать шесть укладывались полностью и без изъяна наши с Ванечкой два по восемнадцать. Иван и преуспевал, используя Матвеевичевы феноменальные конспекты. В отличие от меня, который и свои-то записи вёл через пень-колоду.

Главное же, как мы оба с Иваном потом установили: Ванечка не писал стихов и не пропадал по редакциям с написанными строчками, ища места под солнцем большевистской печати и активно реализовывая себя. Занятие это требовало не только экономных расчётов времени, но и убеждённости, неукротимой веры в себя и в своё право сочинять и публиковать стихи, и терпения, и энтузиазма. Не разорваться же, в самом деле. А эти качества в комплексе врождёнными не бывают, учиться надо.

В установившемся различии скорее сработало всё вместе взятое.

И таким обрзом Ваня уже на первой сессии стал четвёрошником.

Короче, Снегирёву Лёвик никогда не завидовал.

Сейчас же кому-то и трояк сгодился, чтоб уцелеть в институте.

А зубрить *галогены* нерадивому первокурснику приходилось под неусыпным личным надзором рыжеволосой всезнайки старосты Такмениновой.

Таковы институтские друзья: либо их нет, либо они заводятся надолго, если не навсегда. Благодаря дальновидной снисходительности одного пожилого химика-неорганика Семёнов не отсекся, и потому такие друзья у него были.

А задружил он с Ванечкой и Матвеичем на том же первом курсе.

Старик Вениамин Авксентиевич принёс Лёвику из книгохранилища том Брокгауза и Ефрона на букву «П». Именование средневекового гения в каждом слове там заканчивалось твёрдым знаком, у фамилии перед завершающей литерой стояло не «с», а «з»: *Парацельзь*. Семёнов не спросил у библиографа, почему по теперешней орфографии стоит буква «с». Искать для разъяснений профессора Бородкина также было некогда.

Водворение в общежитие батальным способом

Городские *войнишки* имели давние фундаментальные традиции.

Местные старожилы – и те уже мало помнили сражения прошлого. Легенды, если и сохранились, то редко передавались из уст в уста. Традиция стусевалась, но не умерла вовсе, а трансформировалась и старалась соответствовать настроениям теперешних студентов.

Ещё в XIX веке улица на улице бились доблестные обыватели из полицейских частей (тогда так именовались районы): Пески с Болотом, Уржатка с Горой, Слобода с Еланью. Сходились на обусловленной поляне в пойме городской речки, там, где нынче отведено пространство шатру приезжающего на гастроли цирка шапито. И дубасили друг друга сколько хотели. Увечья и кровопролитие принимались как должное. Любил позабавиться кулачно и сам грозный полицеймейстер Аршаулов, с завоёванным уважением прозванный в городе Кувалдой.

Студенты накануне первой русской революции блюли традиции университетского города и активно участвовали в безыдейных побоищах. Потом было совсем другое: истребления в ходе войн и революций, так же и служение врачами после учёбы не носили игрового характера. Строго дисциплинированная, без намёка на отсебятину, мобилизация масс для строительства социализма вообще начисто отбросила боевые эксперименты в разряд спортивных соревнований и секций.

Властью спорт поощрялся.

Но искра дремала, и после войны пламя возгорелось опять.

На ограниченном участке.

В 50-е годы ристалища, пожалуй, выглядели уже как сражения арьергардные, сдвинутые из центра к периферии города. Но ещё стойко воевали медики с политехниками. Силы были неравные: в учебных потоках у медиков количественно превалировали ласковые, миролюбивые женщины, а мужчины после отсева на первых курсах составляли едва ли одну десятую, в основном не самую боеспособную, тем не менее, довольно активную составляющую от всех учащихся. У политехников наблюдалась обратная тенденция: женщин училось количественно совсем немного, почти единицы.

Медикам ничего иного не оставалось, как за своих женщин насмерть стоять в обороне. Хотя, не станем утаивать, девушки об этом никого не просили. Рыцарскую инициативу мальчики брали на себя сами.

Во главе медицинской заставы в моё время выступали шестикурсники Постукальский и Поркин. Оба фиксатые, у одного полчелюсти в железе, у другого всего одна фикса во рту, но золотая (у кого что именно во рту вставлено, я не запомнил – не до того было, признаться). В равной мере с ними среди сражений проявлял себя белоголовый боец из 43-й Оптимист Саянский.

Факт, хотя и странный, труднообъяснимый: у Оптимиста зубы все были не выбитые, свои, целые.

Политехники редко рисковали приходиться в одиночку.

Их узнавали по чёрным шинелям с погончиками и фуражкам с кокардами.

Сбросить противников с мостика через пересохшую речушку – заветная цель, воодушевлявшая обе стороны. Медики возвышались непробиваемым кордоном на пути к женщинам, живущим *на Твери*. Одержимые жаждой реванша за прежние поражения, воинственные политехники раз за разом приходили штурмовать подступы к двум корпусам несокрушимой Твери.

И, увы, практически никогда не достигали успеха.

Ибо ничью ведь никак не причислишь к победам.

Репетиции институтской художественной самодеятельности проходили по воскресеньям в полуподвальном помещении студенческого клуба на Твери. Туда же пару раз в неделю по вечерам приезжал киномеханик с целью задействовать установку для показа всяких фильмов, чаще старых, многим известных. Повтор зрителей не смущал, любителям кино, наоборот, нравился. Народ ценил показы за символическую плату, собирался, терпеливо пережидал, пока киномеханик починит обрывы изношенной ленты и наладит продолжение фильма. По большей части ему это удавалось.

И потому самые терпеливые получали радость, когда досиживали до последней записи на экране – слова «Конец»...

В сессию ситуация менялась и описывалась затасканной остротой: *кинщик заболел, кина не будет*. Болел или не болел *кинщик*, фильмы не показывались. Преобладали зрелища иного порядка: по разным углам зала рассаживались небольшие коллективы подзубривающих товарищей.

Свет был неяркий, но отчего-то никто не боялся испортить зрение.

Прописка на Твери у Лёвика произошла следующим образом.

Вчерашние школьники, а ныне одногруппники первого курса лечфака Гена Кувшинов (пение военных и любовных песен под гитару) и Лёва Семёнов (декламация стихов своего сочинения и знаменитых поэтов военной поры Симонова и Антокольского) однажды, близко к вечеру воскресенья, вознамерились впервые посетить репетицию в клубе.

Прошли через толпу и, не очень разбираясь в институтских тонкостях, на свою беду не заметили её агрессивного духа, к тому же опаздывали на репетицию. Едва вошли в коридор корпуса, как их набросились бить какие-то оголтелые, взрослые дядьки. У одного в разъявленном рту Семёнов заметил золотую фикса, другой носил на челюсти протезы из железа.

Гену основательно долбанули табуреткой по голове, благо шапка позволила черепу уцелеть. Семёнову повезло больше: его как медика отстоял Пашутин из 43-й.

Они познакомились недавно, в очереди за ордерами в общежития. Ордера, правда, достались в разные общаги, но в данный момент это не имело никакого значения.

Что ребята не политехники, было в оперативном порядке доложено предводителям битвы Постукальскому и Поркину. И поэтому бить их не надо. Вожди согласились не бить. И отстали.

Самодельные артисты попали на Твери бойцам под горячую руку из-за чёрной шинели Геннадия. Шинель же ему досталась от папаши, служившего на речном флоте. Шинель делала Гену Кувшинова солидным, очень шла ему, как считали девушки. Но вот подвела, едва не погубила, и если б не шапка...

Да что разбираться, всего не предусмотреть.

Как бы там ни было, пострадавшего Гену увели девушки, осмотрели голову, наружных повреждений не обнаружили, сотрясения мозга, видимо, не было тоже. Угостили чаем и сладостями.

Гена отблагодарил добросердечных девушек пением под гитару, и, как говорят, очень им приглянулся: чернявенький, лицо смазливое, классно поёт и хорошо играет на гитаре. Жалко, что после первого курса отсекся.

Семёнов же очутился в 43-й.

Юра Пашутин внешность имел решительно бойцовскую, однако никогда не дрался: боялся. Знаете чего? Не поверите. Ударит, мол, противника не понарошке, а тот возьмёт, и копыта откинет, это как? Не-ет, я туда ни ногой.

А что? С Юры Пашутина станется. Лучше ему дома сидеть, штудировать диагностику внутренних болезней по учебнику М. В. Черноруцкого, а параллельно шлифовать собственную мускулатуру посредством усердных упражнений с гириями.

Тоже уважаемая позиция.

Но извинялся, будто не Поркин орудовал табуреткой, а он, Пашутин.

- Лёва! Тут мал-мал ошибкам давал. Ты не обижайся. Вас приняли за политехников, они же к нам приходят на ярмарку невест, наши медики жутко ревнуют, вот и затеваются драки, тудема-сюдема... Не обращай внимания. Больше вас никто не тронет. Мы тебя оставим на ночь. Ты же пережил большую встряску. Переночуешь в тиши, обомнёшься, наладишься... Пока приткнём тебя в 39-й комнате, на пустой кровати. Идём.

В 43-й накормили, напоили чаем. Увели, уложили спать.

И больше уже не отпускали.

Точнее, сам не отпустился.

Репетицию обоим посетить не привелось.

Да её и не было.

А киномеханик в тот вечер не заводил свою установку.

Говорят, из-за репетиции.

Птенцы Парацельса

Утром Лёвик пошёл умываться. Возвращаясь, увидел и ощутил примечательную картину.

И встал как вкопанный.

Истёртые половицы коридора внезапно тяжело заходили под ногами Семёнова, и всё огромное бревенчатое здание пришло в движение, точно его вдруг перетащили на море, снабдили парусами и, подобно фрегату, пустили в плаванье.

А раскачивался всего лишь один предмет – большой синий чайник. Он-то и создавал иллюзию нереальности происходящего. И, пожалуй, не столько сам чайник, сколько то обстоятельство, что его нёс Пушкин.

Смуглый черноволосый бакенбардист, одетый в старый офицерский китель, тёмно-синие галифе и начищенные сапоги, двигался напрямик на Семёнова и громко распевал:

О чём задумався, детина,

Шахтё-р-р своей жене сказа-в-в.

Оторопевший Семёнов, давая дорогу, убрал руки за спину и собрался уже произнести:

- Здравствуйте, Александр Сергеевич.

Но смолчал: Семага всё равно бы не расслышал.

И не поглядел на чужого.

Всё-таки это был не Пушкин. Что Пушкин - только казалось.

Он прошествовал до двери, на которой кнопкой был прикреплен бумажный ромбик с цифрой

43.

Китель-френчик и галифе отцовские. А сапоги у Семаги свои, сорок третий, вам для сведения, размер. Случайное ли совпадение с номером комнаты, стоит задуматься, между прочим. Если хотите.

Одна стена 43-й комнаты образована общественной печью. Как затопят печь в полшестого утра, так до часу ночи и не потушат, и всё общежитие собирается здесь, чтобы варить и жарить, и печь, и подогревать остывшую пищу, а также раскалять утюги, чтобы гладить на доске, в сторонку отставленной, и сушить обувь. Тронешь стену – можно обжечься. Всю зиму комната не устанавливает вторую раму. Более того, одна створка – если только на дворе не самая сильная стужа – приоткрыта: головой к улице спит морозостойкий хладолоубец Оптимист Саянский.

А у самой печи – кровать Семаги.

- Тебе не повезло, Сёма?

- Повезво, повезво, Вёва.

И нетрудно было уяснить особенность Семагиной речи: он раскатывал «р», а вместо «л» произносил «в», так что получалось, например, *вучше*.

Вечером, когда Семага заснул, а другие бодрствовали, Коля Сынок и Оптимист Саянский собрали и сложили поверх него плащи, осенние пальто, москвички и телогрейки. Энергичный Измаил Евгеньевич Подсельский не поленился, позвал из 39-й Вову Чудова с полушубком, подбитым волчьей шкурой, дабы завершить пирамиду.

Вова Чудов, помимо фамилии, известен тем, что тоже не страдает бессонницей и, отходя ко сну, складывается книгой на двух составленных вместе тумбочках – длинные нижние конечности вплотную приближает к грудной клетке, и в таком виде устойчиво проводит ночь. Когда Вова Чудов обрёл ордер, то перебрался на койку, но спаньё в позиции захлопнутой книги на тумбочках, случается, по прежней привычке возобновляет. Иное у него, чем у широких тверских масс, отношение к питанию: под кроватью покоится трёхлитровая бутылка с подсолнечным маслом и два пудовых мешка – один с пшеном, другой с сахаром. Остальное к столу Вова Чудов покупает, но чтобы собирать продукты, особо разнообразные, так теми заботами не заморачивается. Последние

пуды приел три дня назад. А до стипендии, сами понимаете, ещё пахать и пахать. Потому волей-неволей отступать от привычной диеты ему приходится.

Семага к затруднениям Вовы Чудова относится снисходительно.

- Садись, Вова, - сказал Семага. - Угощайся. Еда обвагорраживает чевовека.

И вот Вова Чудов, благодарный Семаге за отзывчивость и понимание, от всей широты душевной платит ему добром за добро: принёс полушубок. Говорят, Семага будто бы воровато приоткрыл из-под утеплительной груды правый глазок – и тут же, от греха подальше, захлопнул. А по-моему, злые языки врут, такого быть не может.

Напружинились, вытащили сооружение в коридор. Прохожие, с трудом пробираясь пообок баррикады, негодовали, особенно женщины, требовали:

- Перестаньте мучить Семагу!

- Мы его не мучаем, - с подкупающим дружелюбием разъясняет Измаил Евгеньевич Подсельский.

- А что же тогда вы с ним делаете?

- Мы, - вдумчиво рассказывает Коля Медяников, известный народу как Сынок, - мы убираем товарища от жаркой печки в коридор, дабы создались ему уют, комфорт и прохлада.

- Идите вы к чёрту! - торопливо пробегает мимо возмущённая особа.

А вот уже идёт следующая, с подобным же отзывом:

- Африка... Настоящая Африка!

Семага между тем как спал, так спит себе и спит.

Через пару часов Коля Сынок предлагает:

- Не хватит? Шубы уберём?

- Пусть полежат ещё, - заботливо не соглашается Оптимист Саянский. - Видишь: как дверь с улицы откроется, возникают жуткие сквозняки. Семага простудится. Общество нам не простит.

Непробудный Семага лишь потянул, как от холода, одеяло кверху.

Утром кто-то сказал:

- Сорок седьмой из ненаписанных рассказов Максима Горького «Про Семагу»: «Как Семага спал в коридоре».

Оптимист участливо справился:

- Как поспалось, Семён?

- Медведь снился. Нававивався и сопев в вицо.

И Вова Чудов озаботился:

- Сеня, а серый волчок тебе не снился?

- Не вовнуйся, Вова, серый вовчок завтра прриснится.

Немного о нравах

По утрам в 43-й пьются *чаи*.

Кроме того, и вечером, и несколько раз на дню: в зависимости от наплыва людей. С *чаями* гурманствуют. Приносятся *чаи* в большом, иссиня-голубоватом чайнике – том самом, вид которого ошарашил некогда Лёвика Семёнова. Каждая комната – мужская или женская, не суть важно, – при своём заселении получает от коменданта такой чайник. Посуда стандартная, вместимость каждого чайника восемь литров, попросту говоря – ведро.

Семага нёс тяжесть игрушки, что, наряду с прочими достоинствами, говорит о его серьёзных личностных возможностях.

Чайник с кипятком ставится на стол.

Процесс насыщения в 43-й каждый упрощает в соответствии со своим индивидуальным вкусом и опытом. Хлеб никогда не убирается со стола, пока не съедается до последней корки. Если нож подевался куда-то, от кирпича можете отламывать рукой сколько захотите. Количество ложек отнюдь не избыточно. Джем или повидло, жиры, каша, лапша нередко поддеваются кусками хлеба.

- Держите вашу ёмкость, Лёдя, - Оптимист (он же Оптимус) подталкивает по столу Семёнову, новичку, стеклянную банку. - Берите *масла́, сахара́*.

Оптимус утратил интерес не только к своему, данному при рождении имени. Например, вместо слова *посуда* скажет «ёмкость». Хлеб называет *хлебá*, масло – *масла́*, маргарин же – *марго*. Лёвик у него – *Лёдя*, он же *Лёдик*. К Оптимусу-словотворцу в общежитии прислушиваются. Ему подражают и следуют.

С появлением Семёнова в речевой обиход 43-й вошли заимствования из великой саги про Остапа Бендера. Зазвучали призывы *не делать из еды культа*. Но огурец изо рта у Паниковского никто не вырывал. И огурцов на Твери почему-то никогда не видели.

Да и без Паниковского обходились.

Витя Шуцкин (он же Моквичёв) не признаёт те ёмкости, которыми пользуются все. Ему малы и полулитровые стеклянные банки из-под абрикосового джема или баклажанной икры, банка Виктора – литровая. И пьёт он не чай, а *коффе́*.

Коффе́ - вещь! На приготовление напитка затрачивается достаточно времени и упорства. Парацельс, познавший толк в изготовлении и применении лекарственных препаратов, как полагают в 43-й, остался бы доволен.

Отмеряется половина пачки, сделанной из плотной обёрточной бумаги с напечатанными на лицевой стороне чёрным ячменным колосом и жизнерадостной надписью типа «Новость», «Радость», «Дружба» или популярнейшая (поскольку дешевле других) «Хлебно-злаковая смесь №2». Отмеренная порция вытряхивается в ёмкость, высыпается много (на глазок) сахара (питание для мозга), влага накапливается на край посуды, Шуцкин наклоняется схлебнуть, чмокает с наслаждением: вкус настоящего кофе! У него круглое лицо с чуть заострённым подбородком. Щёки и лоб иногда приходят в движение: гримасы, подмигиванья, улыбки, почти что тики.

В предвечернее время Витя уходит в 39-ю комнату в гости к Ивану, тоже большому обожателю *коффе́*. Ещё они любят кушать сельдь. Большую, жирную рыбку съедают на пару. Хочется пить. Выпить не меньше двух литровых банок горячего, сладкого ячменного раствора на каждого – как нечего делать. Наравне с ними насыщается Матвейч. Ворчит:

- Нельзя мне предаваться излишествам. Придётся посадить себя на диету.

Законное побуждение Матвейча после трапезы – прилечь отдохнуть. Но кто бы ему позволил? Иван собирается на тренировку, предмет – снарядная гимнастика. Виктор гимнастикой не занимается, к тому же своенравен и упрям, его на тренировку не утащишь. Семёнова где-то чёрт носит. А одному Ивану идти неохота. Иван пристаёт к Матвейчу.

Матвейч в представлениях Ивана покладист и податлив.

Иван подступает как с ножом к горлу:

- Собирайся!

- Подумай, Детка, куда я пойду? - вразумительно отнекивается солидный Матвейч. - Я слишком стар для спорта.

- Сколько тебе лет?

- Тридцать шесть.

- Человек продолжает расти до сорока двух.

- Разве? - с подкупающей искренностью сомневается Матвейч. Он знает, что Детка врёт, но чем чёрт не шутит...

Иван-искуситель не унимается:

- Упражняй мышцы, ты упражняешь свой мозг.

- Пожалуй, не следовало нам так наедаться, а, Детка? - начинает поддаваться Матвейч.

- Во-первых, вместимость желудка три литра, а мы выпили всего по два на нос. А во-вторых, пока дойдём, всё переварится.

Изрекши обе истины, Иван поднимает вверх указательный палец и наддаёт жару:

- Человек, который не занимается гимнастикой, заболевает гипертонией. Выбирай одно из двух: или гимнастика, или гипертония.

Всё, доконал. Матвейч гипертонии боится и выбирает гимнастику, как меньшее зло.

Тренировке Иван отдается весь безраздельно, он дорожит ощущением совершенного владения каждым мускулом, каждой клеточкой своего тела. И Матвеич не жалеет, что дал себя утянуть на тренировку. И на него стоит посмотреть в спортивном зале – подтянут, собран, упражнения ему не в новинку, человек в расцвете сил, вовсе не стар для гимнастики, а в самый раз.

Матвеич в институт попал с третьего захода. Принимать не хотели из-за кратковременного пребывания «в окружении» на войне и последующих проверок (в том числе и грозным СМЕРШем), хотя и оставшихся без тяжёлых последствий, но всё же в анкету воткнувшихся...

На третьей попытке, по достижении предельных тридцати пяти, его документы попали к недавно избранному секретарём парткома доценту Кашеварову с факультетской хирургии. Кашеваров тоже воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Просматривая документы поступающих, наткнулся на сослуживца по фронту, бывшего военфельдшера Евлампьева. Пришёл специально на первый же из вступительных экзаменов третьего Матвеичева захода.

- Какие у вас правительственные награды? - спросил Кашеваров.

- В личном деле указаны, - напрягся Матвеич, однако от перечисления воздержался. Не знаешь ведь, к чему придерутся.

- Я читал. А вы не посчитайте за труд, перечислите!

Матвеич исполнил. Комиссия услышала.

- В каком звании закончили войну? - поинтересовался Кашеваров.

- Старший лейтенант запаса, - перестал ломаться Матвеич. После чего Кашеваров прилюдно поднялся, обошёл вокруг стола, чтобы позвать Матвеичу руку.

- Да ты, военфельдшер, сиди, не вставай! После зачисления и оформления документов заглянешь ко мне на кафедру – найдём, что вспомнить. Старшим лейтенантом приказ полковника выполняется без обсуждения. Понятно?

- Так точно, товарищ полковник!

В результате Матвеичу зачли предметы, сданные на предыдущих испытаниях, и без волокиты предоставили койко-место на Твери. Само собой, его зачислили на стипендию и больше никуда не гоняли, ни о чём не спрашивали, анкету не шурудили.

Стоит оглядеться и понаблюдать, кто же восседает рядом с Лёвиком на студенческой скамье? В большинстве – вчерашние десятиклассники. Одна девушка в прошлом техник-механик, другая, по анамнезу⁸, заведовала яслями в райцентре.

Мужчин на первых порах всё-таки хотя бы четверть на потоке, потом наступают семестры глубокого отбора – *отсев*. Остаются наиболее устойчивые, очень желающие получить врачебную профессию. На каждый десяток женщин в группе один-два, иногда три парня. И к третьему курсу соотношение мужчин и женщин на потоке устойчивое – примерно, как мы не раз правдиво указывали, один к десяти.

Матвеичу неловко: староват. На курсе остались несколько стажированных фельдшериц, а из фронтовиков – Матвеич и Прохор Белоусов. Прохор, на войне полковой запевала, поначалу ходил в гимнастёрке. У него учились умению до блеска начищать обувь и заправлять рубаху за ремень, сгоняя все складки от живота к спине, а также залихватски, почти на затылке носить фуражку или кепку, полностью открывая чуб. По мере организации институтского духового оркестра, Прохору из необходимости пришлось завести себе партикулярный костюм и добиваться того же от подведомственных лабухов. А то, говорит, приглашают, например, покойника сопроводить в последний путь, а лабухи одеты мало того что бедно, так ещё и разномастно, через пень-колоду,

⁸ *Анамнез* (греч.) – воспоминание. Сообщение больного и окружающих его лиц в ответ на вопросы врача о предшествовавших заболеваниях. И, шире, об особенностях жизни больного. Искусство собирать анамнез – первый из навыков, приобретаемых медиком при переходе к собственно клиническому периоду его обучения. Иносказательно, на медицинском языке, биография человека, его прошлое. (Прим. автора)

что неприлично. Постепенно, из общих заработков, метаморфоза среди оркестрантов у Прохора худо-бедно получилась. Все его лабухи стали солидно одетыми.

Матвейч же обучал молодых завязывать галстук симметричной петлёй. Ой как приятно: петля у тебя не однобокая, а ровная, аккуратная – не на всякой картинке встретишь.

Конспекты Матвейча можно показывать в музее медицинского просвещения. (Давайте уже, наконец, откроем такое учреждение!..)

У Матвейча талант писать конспекты. Разными почерками, с применением цветных карандашей, с подчёркиваниями (черты прямые, волнистые, зигзагообразные) и с буквами разной высоты – для заголовков одно, для текстов другое, а для латыни – написание совсем особое.

Девушки быстро сообразили, какую помощь могут получить от Матвейча перед зачётами и экзаменами. У них появилась моральная зависимость от его мнения: теперь им было не по себе, если они делали в жизни нечто, что Георгию Матвейчу могло показаться неприличным и неправильным.

Но он никого никогда не упрекает. Просто авторитетный товарищ на потоке, и всё.

Матвейч мудр. Ивану крепко повезло оказаться в его орбите. Но и Матвейчу так же: Иван для него детка, есть о ком заботиться.

Гимнастика

Среди гимнастических снарядов самый нелюбимый и вроде бы ненужный – канат. Взбираться по нему скучно и неперспективно. На соревнованиях и первенствах лазание по канату в серьёзные зачёты не входит. Не всякий тренер придаёт значение канату или такой штуке, как шест.

Из всей секции один Иван Снегирёв любит приобщаться к данному снаряду.

Но и Измаил Евгеньевич Подсельский тоже любит.

Измаил Евгеньевич приобщился к лазанию по канату в суворовском училище, где, по его словам, лазанье состояло среди главных предметов на ОФП – общей физической подготовке.

Рядом висят два каната, витые, толстые. По первому на одних руках взбирается Малик Подсельский, атлет невысокого роста. Светлые волосы его волнисто кудрявы, черты лица некрупные, но приятные для глаза. Необычным именем он обязан отцу, палеонтологу, назвавшему его по семейной традиции. К несчастью, отец погиб в начале войны в ополчении. И я, печалится Измаил Евгеньевич, возможно, единственный на весь Союз остался с таким причудливым именем. Матвейч утешает:

- Не один. Имя с суворовских времён, военное. Я встречал.

Иван – атлет значительно корпуснее, чем Измаил... Большой череп его обстрижен наголо, губы толстые, добрые, очки не снимаются, лицо в обычном состоянии – задумчиво.

У обоих гимнастов плотно сидящие майки чётко обрисовывают квадратики брюшного пресса, длинные мышцы спины и *мускулис пекторалис майор*⁹.

Оба гимнаста одеты в чёрные трикотажные брюки. Ноги их все пять метров подъёма до самого верха держатся согнутыми под прямым углом к туловищу.

Внизу на низенькой скамеечке два самых пожилых атлета – Матвейч и Слава Слободяник – охают, щёлкают пальцами:

- Здрóрово! Нам бы так.

Добравшись до верха, Иван и Измаил охватывают мозолистыми лапами металлическую штангу и на цирковой высоте под потолками крутят солнышко. Отдыхают, крепя себя на выпрямленных руках, точно птицы на ветке.

Тренер не выдерживает, кричит:

- Носок тяни, Иван! Держи угол! Ноги не сгибай, тяни носок!

Потом спохватывается и осекается. Ему боязно, что под высоким потолком, на высоте пяти метров два студента крутят солнце.

⁹ Большие грудные мышцы (лат.) (Прим. автора)

- Слезьте! Давайте, давайте на пол! Тут вам не цирк, а спортзал всё-таки!

Натешившись, оба нарушителя дисциплины так же, держа угол, медлительно спускаются. Тренер, передохнув и возвратив на бледное лицо обычную краску, коротко читает нотацию. Измаил Евгеньевич, отдыхая на скамеечке, скрупулёзно разминает гибкие, хирургические пальцы.

В группе девушек, естественно, в это время прерывали занятие.

Но никому, разумеется, до девушек нет никакого дела.

На секцию ходит странный парень. Что ему здесь делать – людей смешить? Внешность необычная: кривой нос, негритянская причёска, волосы торчат во все стороны, тёмные, блестящие глаза. Костюм лыжный, вигоневый, старый. На ногах – сильно стоптанные с наружных концов каблука туфли. Ходит, выдвигаясь вперёд плечами, такая зигзагообразная у него походка.

Гимнаста из него не сделает ни один учитель. Даже привычные ко всему тренеры начинающих не прячут улыбок – не педагогично, не этично, но сам напрягся.

Надо видеть, как он безуспешно пытается влезть на брусья, повисает мешком между перекладин, барахтается – словами не расскажешь.

И в таком вот почти анекдотическом виде предстал впервые Юрий Каменский перед Лёвиком Семёновым.

Им было по пути – на Тверь.

- Зачем ты пошёл на секцию? - спросил Семёнов.

- Вдруг получится.

- А если не получится?

- Ну не получится – так не получится, - с флегмой в голосе ответил Юрий.

Наступала зима. Кругом сильно мело снегом, скрипели деревья, по небу скорой поступью текли облака. Чувствовалось, встреча не случайная, словно кто-то невидимый, но всемогущий, распорядился: будете годами не отходить друг от друга.

Глава седьмая. О мнемонических приёмах

Repetitio est mater studiorum?¹⁰

Первую латинскую фразу Лёвик запомнил сходу, повторив лишь единожды после того, как услышал от Ксении Павловны, при обстоятельствах самых исключительных, требование:

- Ну-ка, произнеси. Не скажешь – получишь двойку на зачёте по латинскому языку.

- Не надо двойку!

И без запинки повторил вслед за ней:

- Omnia mea mecum porto – «всё моё ношу с собой».

- Про твой дипломат, Лёвик. Правильно?

- Да. И как же вы, Ксения Павловна, смогли догадаться, что у меня другого имущества нет?

- Сам же говорил, как тебе хорошо живётся в твоей *обжитке*. Живётся здóрово, а приткнуться по-настоящему негде.

В тот вечер в студенческом клубе репетировали сценку-скетч по одноактной пьесе с сюжетом из колхозной жизни. Планировался юмористический спектакль.

Залихватский юмор этого замечательного фрагмента из «Репертуарного сборника номер такой-то для самодеятельных театров», как золотая рыбка, ради своего уловления требовал особого невода. Которым Семёнов, новичок в театре, по-видимому, пока не обладал. Возможно, не дорос, как знать.

Лёвик и преподавательница с кафедры иностранных языков Ксения Павловна должны были разыгрывать супружеские отношения пожилых механизатора и доярки.

¹⁰ Повторение – мать учения (лат.) (Прим. автора)

Персонажи – Фёфёла Дормидонтовна и Капитон Пантелеймонович называли себя исключительно по имени-отчеству (такие имена - уже смешно, да ведь?) лукаво препирались. Она посылала его принести дрова, чтобы затем была истоплена печь в доме сельсовета (где, завоёвывая право сидеть в первом ряду на собрании, она стала работать уборщицей, он дворником). Готовилось собрание колхозников-передовиков, на стене висели лозунги и портреты. Так вот, жена шпыняла мужа, обзывала ленивым Змеем Горынычем (находка автора и режиссёра). А когда муж, по мнению супруги, выполнял её поручение не в таком темпе, как следовало, то эта его промашка называлась «*ходил до морковкиного заговенья*». Причём здесь *морковка* и тем более *заговенье*, режиссёр объяснил коротко: дескать, слишком долго ходил. Так, значит, и играть будешь.

Язык, таким образом, выглядел вполне себе народным.

Умрёшь от хохота, одним словом...

- *Нью-Васюки*, - сказал, впрочем, не очень громко Семёнов. - Зададимся вопросом: что бы сказал по этому поводу Васисуалий Лоханкин?

- А мы не критикуем, - строго оборвала преподаватель Ксения Павловна. - И на Остапа Бендера будем опираться в другом месте.

И тут она взяла и, по-свойски проведя указательным пальцем сверху вниз по лбу, слегка и совсем не больно надавила ему на кончик носа.

Партнёрша Капитона Пантелеймоновича моложавой внешностью походила на подростковую куколку, так что могла сойти за студентку-старшекурсницу: зеленовато-синие, широко открытые, как от удивления, круглые глаза под рыжеватыми, нежными бровями, пунцовые, нарисованные свёклой щёки, неширокие плечи, белокурая, с волнообразной, ловко уложенной причёской головка.

Ксения Павловна посоветовала Лёвику, как лучше нарисовать чёрные усы. Она на полном серьёзе входила в игру, тащила и поправляла напарника. Режиссёр, приглашенный из городского драмтеатра, одобрял её творческую активность, и лишь указывал, что надо бы Семёнову получше выучить текст, не сбиваться, не заикаться, а то всё завалит. Насчёт усов режиссёр рекомендовал, как их удобней стереть после репетиции. Да Ксения Павловна и сама умела.

Репетиция подзатянулась. А Ксения Павловна жила от Твери неблизко, снимала квартиру возле института, в центре города.

- Кто меня проводит? - спросила, подправляя губы, и без того накрашенные. Снова толстыми слоями накладывала краску.

- Нет никого, кроме меня, чтобы проводить вас, Ксения Павловна.

Она вытащила из сумочки платочек с кружевной обвязкой по периметру, налила в него духов из флакончика.

- Подставляй сюда рожицу.

Повозив влажным, холодным и резко пахущим платочком у него под носом, дала зеркальце:

- Следов не осталось?

Кажется, гримёрный карандаш был удалён полностью.

А запах духов не испарился.

О том, что он маленький и ещё не дорос до взрослых отношений, ему уже говорили, и было обидно, хотя и особой боли задетое самолюбие не причиняло. В городе, откуда он приехал учиться в институте, было особенное место, где всё происходило. Переход из детства в отрочество запомнился, как это обычно запоминается всегда и всеми. Район назывался Стройплощадкой, и сюда на бывшую окраину, ныне резиденцию стремительно возникающих заводов, быстро, с учётом военного времени, перемещался городской центр.

Семёнов, как ему и полагалось, окончил мужскую среднюю школу, дружил с девочками, в одну ученицу женской десятилетки, возможно, даже влюбился, гулял с ней, посвящал стихи, читал их на прогулках. Но это всё быстро прошло. Получалось, что в школьных компаниях тянулся к подругам, всегда значительно старшим по возрасту. Они к нему и относились по-матерински. Самое большое поглядят по голове – и сразу уберут руку.

Стройплощадка заполнялась четырёхэтажными домами с водопроводом, отдельными для каждой квартиры уборными и *центральным* отоплением. До войны таких зданий здесь не строили, а работники пимокатной фабрики и меланжевого комбината селились в частных домах или наскоро слепленных двухэтажных бараках. В розовом четырёхэтажном здании жили девушки. Их общежитие называлась Инкубатором. Среди школьников некоторые считали, что там разводили куриц. Насчёт того, что в названии таится какой-то двусмысленный намёк, иногда возникали споры, однако никто из старшеклассников мужской средней школы расшифровок особенно не добивался.

Вечерами из Инкубатора выходили гулять взрослые девушки, которые не носили ватных телогреек, а одевались, как учительницы, только в пальто. Они не гнушались прохаживаться с *малолетками*. Инесса Бурцева спрашивала:

- Ты, Лёвик, с какого года?

- С тридцать четвёртого,

- Ах, *с тлиять четвёртого!* А почему не *с тлиять тлетьего?*

Подруги смеялись. А самая старшая, учившаяся заочно в педагогическом техникуме Лира Глебовна поправляла со знанием дела:

- Надо говорить не «с тридцать четвёртого», а «тридцать четвёртого», без *с*, потому что имеется в виду продолжение: «года рождения». И юного возраста не следует стесняться. Всею своё время. И вы до наших лет обязательно дорастёте.

Все переставали смеяться.

Внезапно появлялись патефон и под ним табуретка. Вращалась пластинка. Иголка бегала по записанным строчкам. И вдруг начиналось необъяснимое, очень волнующее:

*Прошёл чуть не полмира я,
Нигде с такой не встретился,
И думать, не додумался,
Что встречу я тебя.*

Отчего-то девушки на улице никогда не танцевали. Семёнову обещанием будущих открытий звучали слова о пройденной героем песни почти половине света. Подлинный смысл единственной встречи, определяющей судьбу, доискивался и додумывался много, много времени спустя.

Никто здесь ни о чём не спорил. А начинали обсуждать книги и кинофильмы. Чаще – про войну. Затем расходились по своим компаниям. И перед тем, как разбежаться совсем, Лира Глебовна споёт на прощание:

*- Эх, да загулял, загулял, загулял
Паренёчек молодой, молодой, молодой.
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой...*

И пальцами щёлкнет, покрутится – вроде как приплясывает. И приобнимет мальчика, того, что стоит поближе.

И оттолкнет, да сильно так...

И скажет: «Не падать!»

Спросить бы, как это «загулял» – по улице, что ли, прохаживался? Но спрашивать поздно: Леры Глебовны на тротуаре и след простыл.

Ксения Павловна посмеялась, одобрила:

- И так бывает. Молодец Лира Глебовна. Тебе ещё у меня надо что-нибудь спросить? А то скоро расходиться будем.

- Вы можете научить меня мнемонике, Ксения Павловна?

- Я тебя могу многому научить.

- Английскому языку уже учите.

- У тебя какая память превалирует – слуховая или зрительная? Ладно, не придумывай. Ты можешь и не знать о себе. Некоторые должны сначала прочитать написанное на бумаге, потом пересказать. Тогда как другие хорошо запоминают с голоса. Лучший вариант – и то, и другое. А

попробуем проверить. И почему ты от меня держишься так далеко? Приблизься, я не Бармалей, студентов не кушаю.

Лёвик уже почти не боялся. Она же такая куколка. И столько всего знает...

Взяла его за руку. Фонари не светились. В полутьме наступающей ночи на лице у Куколки заметно проступал сильно накрашенный рот.

- Теперь латыни поучимся. Повторяй за мной: *Repetitio est mater studiorum*. Повторение – мать учения.

Он долго путался. Она находила его оговорки смешными, веселилась. Вместо *репетицио* – *репетиция*, ха-ха... И ему было смешно.

Город между тем засыпал. Становился всё более безлюдным.

- Вот мы с тобой дошли до Роши. Знаешь, репетиции меня всегда возбуждают, не меньше, чем сами спектакли. Спать почему-то совсем не хочется. Мой дом где-то в километре отсюда. Туда успеется. Хочешь, погуляем по Роше?

- И вы меня ещё поучите?

- С одним условием: если перестанешь меня звать Ксенией Павловной – хотя бы на этот вечер.

- А на «вы» можно?

- Раз тебе трудно отвыкнуть, то да, зови.

Фонари в Роше, если и были, стояли незажжёнными. Бездыханно темнели окошки корпусов. Ксения хорошо ориентировалась при лунном свете, вела его, не выпуская руки, по таким тропинкам, которые он и днём бы, наверное, нашёл не сразу.

Полное безлюдие их сопровождало.

- В дальнем уголке за Новой Анатомкой есть одна потаённая лавочка. Там в такую пору никого не спугнём... Надеюсь, и к нам никто наведываться не будет... Вот мы и пришли. Примостимся... Отрепетируем концовку нашего *скетча*... Расстанься, наконец, с твоим чемоданом.

- С дипломатом.

- С дипломатом, да, не обижайся.

Присев на лавку, она достала из сумочки чистый, ненадушенный платочек, стала стирать краску со рта. Потом появился другой платочек, и в лунном свете увидел Семёнов в её руке тот же флакончик с духами. Аромат цветов усилился. Непонятно каким образом её рука вдруг оказалась у него на шее.

Шёпотом пощекотала ухо:

- Аккуратный ты мальчик. Подстригся недавно... Специально? Словно ожидал – кого? Не меня же?

Гладила его затылок и темя, теребила уши.

И шёпотом объясняла:

- Ты не мужлан, только на днях тебя выпустили из детского садика ... из старшей группы... ты не большой и не грубый... Мужланы все большие и грубые. Я их не люблю.

Губы Ксении сладко пахли, да и аромат её платочка всё не выветривался.

- Хочешь посмотреть, как у Ксении бьётся сердце? Давай сюда руку!

Расстегнула пуговицы на кофте, ладонь его нежно, мягко опустила вниз.

Дальнейшее потрясение запомнилось не совсем отчётливо, скорее спутанно.

И такие слова были сказаны:

- Вот... Ты больше не дитяtko, а был славный такой пупсёночек, глупенький и невинный... Ходил в детский садик, в старшую группу... Когда-нибудь превратишься в мужлана. И Ксения с тобой на лавочку больше не сядет.

И лишь только луна стала бледнеть, массивные зданья проступили виднее, Ксения пояснила: всё, что у нас есть, мы должны не укладывать в чемоданы, а носить в голове и в сердце. И с языка не снимать, ни под каким видом...

- Скоро народ будет отправляться на работу, появятся дворники. Давай-ка начнём собираться. Не смотри сюда, я оденусь... И вот сейчас ты меня по-настоящему отпустишь. И я одна своими ножками потопаю домой. А ты пока побудь в Роще минут несколько, и после вернёшься к себе на Тверскую. Не вздумай меня догонять, нас не должны видеть вместе. Давай мордашку вытру, чтоб не осталось следов от моей помады... Пожалуйста, не лезь ко мне больше. И не перебивай. Ночи тебе не хватило, малышенька, детсадничек мой. Ночи всегда не хватает... И запомни: в институте мы, как были, так и остаёмся – чужими. Учить вашу группу будет другая преподавательница, моя подруга, понятно? Чтоб ты не возомнил о себе бог весть какие истины. Да у нас ведь, верно, ничего и не было? Посидели на лавочке, порепетировали *скетч* – тем и кончилось. В пьесу я больше не вернусь. Если пожелаешь, найди на мою роль другую подругу. Отбираю у тебя слово: о нашей ночи никому, ни гу-гу... Ты ещё способен повторить за мной: *omnea mea tecum porto? Всё моё несу с собой.*

- Да. Способен.

И повторил.

И платочек, духами пропитанный, в последний раз прошёлся по его лицу – стирались возможные следы губной помады. А потом – неизвестно как – её платочек очутился у него в дипломате.

...А в 43-й Юра Пашутин наморщил нос, попросил у Лёвика дипломат, принялся, открывать не стал, а лишь понимающе тряхнул головой:

- Духи «Аромат роз», сильно крепкие. Знакомый запах. Такими духами пользуется лишь одна преподавательница – Ксения Павловна с кафедры иностранных языков. Куколка такая, сама невинность. Тудема-сюдема... У тебя с ней что-то было? Малышом звала?.. Она с первокурсниками очень любит дружить... Мужа прогнала, живёт вроде, как одна-одинёшенька. Но не скучает... *Repetitio est mater studiorum*. По-русски у неё читается с обратным знаком: «На продолжение не рассчитывай». Или как? Или как, *Лёдик?*

У Лёвика прямо-таки горло распирало от искушения сейчас же и начать рассказывать.

И говорить, говорить...

Но у него же отобрали слово.

Искать подругу на роль колхозницы Фефёлы Дормидонтовны (или как её там?) желания у него не возникло.

Зачем бы? И роль эта сама по себе, и *скетчи* всякие – к чему теперь?

Гай Юлий Цезарь, полководец Антоний и другие Цицероны

Определение *omnea mea tecum porto* («всё своё несу с собой») приписывается знаменитому на все века оратору Цицерону. Что уж он, патриций, не гнушался таскать с собою, не доверяя рабам, даже и разгуливая в пурпурной тоге у себя в роскошном дворике древнего Рима, – вопрос.

Послушать Витю Москвичёва, так многоречивый Цицерон, должно быть, укладывал свои бессмертные выступления в голову и носил её вместе с содержимым на плечах, дабы по рассеянности, свойственной великим людям, случайно не оставить где-нибудь в прихожей у императора Гая Юлия Цезаря.

Но от Цезаря и цезарят, как ни старайся, всё равно не отвертишься.

Одно достоверно: совсем не по-хорошему кончил Цицерон. Видимо, язвительный краснбай сильно насолил влюблённому в Клеопатру полководцу Антонию (похоже, был элементарным сплетником). Антоний подослал убийц, дабы они зарезали оратора в его собственном имении. Голову Цицерона вместе с его же правой рукой не любивший шептунов Антоний продемонстрировал в римском сенате, выставив на трибуну.

- А не лез бы куда попало, уцелел бы, - прокомментировал в 43-й склонный к назидательным выводам Измаил Подсельский.

- Тоже ведь времена были не идиллические, - вздохнул сострадательный Радий Волковыский (он же Рад Вóлоков, он же Радяй). - Рука-то чем помешала?

- А когда они были, райские времена? - поставил вопрос Юра Пашутин.
- Ага, никогда не были и не будут, - ответил Подсельский. И предложил: - А не сыграть ли нам по такому случаю, да и с устатку в шахматишки? Кто со мной сядет?

Лёвик золотое время на шахматы не тратил.

И на карты.

Без него в 43-й игроков хватает.

Ему бы в город исчезнуть.

Институтские будни

Пятикурсник Измаил Евгеньевич Подсельский сказал Семёнову в коридоре анатомического корпуса:

- Хочешь послушать интересные вещи? Пойдём во вторую аудиторию.

- Надо раздеться в гардеробе.

- Не обязательно, Лёдик. Не к Рокотухину идём.

В корпусе испортилось отопление. Поэтому на теоретических лекциях по большинству предметов негласно разрешалось сидеть в пальто поверх халатов, даже в пальто и без халатов. Рокотухин не признавал человеческих слабостей, безжалостно изгонял верхнюю одежду. И сам являл образец корректности – вот у кого набирался аристократизма Оптимист Саянский: крахмальные воротнички на запонке, галстук-бабочка и складка на брюках, острая, как лезвие бритвы.

Так же, как и профессор, Оптимус курил трубку – в лучшие, обеспеченные времена набивал в неё профессорский табак «Золотое руно» или «Капитанский» по цене 17.40 за коробку. В худшие, нищенские поры загонял туда и горькую, самую дешёвую, 40 копеек за пачку, махорку. То и другое продавалось в магазине «Тобаки» – том, что в центре города, на проспекте, заманивает страждущих палехскими стеной и прилавками.

Студенты звали Рокотухина «Стерильным» или «Коллегой». Войдя в аудиторию, профессор совершал неизменный ритуал: два раза мерно ударял запустелой трубкой о край раковины, после чего, разделив себя пополам бамбуковой указкой, здоровался:

- Уважаемые коллеги, здравствуйте! Ковлешенко здесь?

- Здесь, Илларион Ильич!

- Тогда начнём.

Лекции Рокотухина слушали с увлечением. Он говорил медленно, вдумчиво, фразы строил чётко, повествовал с употреблением неожиданных, но всем понятных слов, демонстрировал диапозитивы, препараты, рисунки.

Рокотухин, декан, повоевал с прогульщиком Ковлешенко (именно такова настоящая фамилия Оптимуса), заставляя ходить на лекции. Оптимус отговаривался: работа, ночью в клинике дежурил (что, впрочем, не всегда было неправдой).

Нашёл кого убеждать!..

Однажды Рокотухин писал на доске какое-то латинское слово, начинавшееся с буквы R, и пригнул нижний кончик литеры к вертикальной перекладине. Его спрашивают:

- R или B вы пишете?

Он улыбается:

- O, простите, коллеги! Я сейчас изучаю чешский язык. Там буква R пишется таким вот образом. - И, будто по-всамделишному спохватившись, задел слушателей: - Изучаю не так, как работаете вы. Ночами, ночами!..

Оптимус был в восхищении.

А Москвичёв, пародируя, слегка грассировал:

- Не так, как вы - ночами, ночами, - несколько ужесточая букву «а», как поступают белорусы. Почему у Москвичёва появлялись белорусы, удивляло, Рокотухин так не произносил. Но люди не спрашивали. Смеялись.

И вот сейчас, сидя рядом с гимнастом Измаилом Подсельским в аудитории Рокотухина (но у другого преподавателя), увидел Семёнов: в накинутом на халат пальто, в тяжёлых ботинках, седой и пышноусый, как Марк Твен на портретах, судебный медик Игорь Лаврович Талалаев, не теряя времени на побочные ритуалы, сразу приступил к изложению.

- Сегодня поговорим о подпольном прекращении беременности. Операция запрещена законом, потому производство проводится в нелегальных условиях, что на сто процентов происходит в нечистоте и полном забвении требований гигиены, к тому же и, как правило, не врачами. Руки неквалифицированных нелегальных абортмакерш настроены на получение незаконных доходов от несчастных женщин, что попадают к ним под скальпель. Оттого ущерб подвергаются сразу два существа – дитя и мать. Зачастую погибают оба.

Цена избавления от нежеланного ребёнка вот такая: если у матери есть шанс уцелеть, то сохранение ею собственной жизни нередко приобретается ценой нежелательных последствий в виде осложнений со стороны интимной сферы женского организма. Причины, по которым женщины всё же идут на преждевременное изгнание плода, могут быть разными, но сначала речь нужно вести о моральной стороне дела.

Молодость женщины подобна прекрасному цветку розы. Над ним сияет безоблачное, ясное небо, со звоном проносятся шмели, летают бабочки. Кажется, эта благоуханная, исполненная в ярких красках картина будет продолжаться вечно. Счастливы те женщины (а их бесспорное большинство), что сумели уберечь от варварского разрушения величайшее достояние – свою молодость. Но горе таким, кто погнался за призрачными утешениями, и кто приносит в жертву самое себя. Они собственными руками сорвали нежную розу и втоптали её в грязь. Женщина, прибегая к аборту, именно так и поступает.

Врачи, идущие на совершение незаконных операций, подлежат суду, как преступники. Судебно-медицинская экспертиза помогает следствию. О юридической стороне дела и соответствующих статьях уголовного кодекса мы с вами узнаем в следующий раз.

Далее повествовалось о том, какими способами молодые женщины устраивают изгнание плода, кто и как им помогает. Обстановка ужасная: грязь в буквальном и переносном смысле, мрачные, занавешенные от дневного света, никогда не проветриваемые подпольные норы, алчные шарлатаны мужчины и уродливые, корыстные старухи, которые за всю жизнь так и не научились как следует мыть руки и отстригать ногти.

Описывались смертельные случаи, тяжкие, на всю жизнь, патологические страдания, причиняемые разными абортмейстершами и знахарками.

Талалаев читал свою лекцию, не признавая звонков на перерывы, не делал пауз. Расхаживая вдоль кафедры, не повышал голоса, редко уснащал свою речь красивыми выражениями... Начал с полуслова и так же, на полуслове закончил. Видимая беспардонность его речи только подчёркивала значимость содержания и смысла лекции. Слушатели, без пяти минут врачи, в большинстве женщины, сидели, подавленные грозным смыслом жизненных драм, разбираемых судебными медиками после того, как в тоске и недоумении вынуждены отступить их коллеги других специальностей.

Некоторое время прошло в полной тишине, и лишь потом аудитория зашевелилась, задвигалась.

Вставали, укладывали портфели и сумки.

Задумчиво, потихоньку спускались и тянулись к выходу.

- Талалаев стар, - комментировал в 43-й путешествие Семёнова Радий Волковыцкий, сильно облысевший (от напряжённых умственных занятий, и вообще оттого, что *умная голова волос не терпит*) к шестому курсу блондин, большой любитель сидеть за шахматами, домино и – куда от них денешься! – за картами.

По-видимому, продолжил Радяй, Талалаева когда-то отстранили от активной деловой жизни, что вполне объяснимо. Заслуги и достижения в далёком прошлом. Но в живых гонители его

оставили. Ели-ели, не доели... А время идёт, люди не молодеют... Теперь вот настал час доедать. Шакалы оживились. В институте на него нападают. И его съедят, попомните мои слова. Сожрут как миленького. Другой вопрос, как скоро? Разве что продержат до тех пор, пока никому шибко не понадобится мало соблазнительная кафедра судебной медицины. Тогда узнаем, кто копает яму под Талалаева.

- Радик, ты не пррав, - пророкотал Семага. – У Тававаева есть что-то активное. Напрримеерр, скверроз сосудов гововного мозга.

- Кто как понимает старость, - тотчас же с жаром вступился за Талалаева Каменский. - Мозг практически не стареет.

- Ты о чём? Скверроз сосудов... моррфоввогическая истина, - пытается отстоять позицию Волковысского Семён Плоткин, он же Семага. Но без толку. Кремень уже завёлся, наступает момент, когда его никто не в состоянии ни остановить, ни, тем более, переспорить.

- Начать с того, что годы разрушают печень, обгладывают сердце и лёгкие, иссушивают мускулы. Мозг способен компенсировать даже серьёзные травматические поражения, не то что возрастные изменения. Если, понятно, это изначально мозг, а не опилки. Опилки перегорают или перегнивают, становятся удобрением...

- Ты чего, Юра? Скажешь, у Талалаева даже сосуды не такие, как у всех людей? - удивляется Юра Пашутин. - Металлические, да? Твоё открытие. Сталинская премия тебя ждёт не дожждётся.

- Резиновые, а не железные, - огрызается Каменский. - Не такие, да. Потому что, если человек не перестает мыслить, то он не позволяет мозгу ослабнуть и покрыться склеротическими бляшками... А премии мне не надо, возьми себе, если хочешь.

- Слушай, тебя Сбоева-Тпрунина не зря приголубила, - намеренно искажая зловещую фамилию, дразнит его Юра Пашутин. - Затосковала: где мой, говорит, студент Каменский? Не пора ли его за нападки на драгоценную Ольгу Борисовну Лепешинскую, за поношение святого имени подвергнуть экзекуции, завалить на экзамене по марксизму-ленинизму и, как следствие, лишить диплома?

- Не поддевай Каменского, пан Пашутин, - просит Рад Волоков. - Зачёт по ОМЛ¹¹ давно сдан – на втором курсе.

- И насчёт паразитологии – в прошлом... Ах-ах, горе-то какое! - огорчается Пашутин: - Вот так вот и не повезло доценту Сбоевой-Тпруниной? Что бы ей такого подсказать, чтобы старая девушка спала спокойно? Тудема-сюдема.

- Ты, Юрка, своими хохмами никому слова сказать не даёшь! - взрывается Кремень.

- А правда, не для всех склероз наступает, как обязательное сопровождение старости, - воспользовался моментом раздумчивости Измаил Евгеньевич Подсельский. - Вот Иван Петрович Павлов дожил до восьмидесяти пяти лет. И когда лежал при смерти, к нему кто-то хотел подойти, а он прогнал этого человека словами: «Иван Петрович Павлов занят. Он умирает».

И как из рога изобилия посыпались термины и заимствованные из учебников и лекций пояснения к ним.

- Склероз... бляшки ... аневризмы... сужение... задержки кровотока... слабое питание мозга...

И пошло-поехало.

Но ведь и здесь Каменский отнюдь не пасует:

- Передняя центральная извилина... шесть слоёв пирамидных клеток... глиозное образование, обслуживающее расположение зоны нашего интеллекта в извилинах серого вещества мозга... если речь идёт о пирамидах, то, скажите, кто на первом курсе запомнил все сто восемьдесят шесть названий на территории височной кости – сулькусы, бороздки и выступы... Ты, Пашутин, насколько на первом курсе познал височную кость?

- Зачем?

- Что «зачем»?

¹¹ ОМЛ – основы марксизма-ленинизма. (Прим. автора)

- Зачем, говорю, запоминать, когда есть анатомические атласы? На экзамене по анатомии четвёрку получил. Месье, вам этого мало? Или как?

- Атлас с собой в операционную не возьмёшь.

- А мне и не надо. Я хирургом не буду работать...

- А кем будешь?

- А хоть бы и психиатром. Устраивает?

Психиатром намерен работать и Москвичёв. Ему ещё в школе случайно попала в руки книга по судебной психиатрии. «Гениальность и помешательство», книга дореволюционных лет издания, на языке оригинала - итальянском. Ломброзо, буржуазный автор, у нас, конечно же, запрещённый.

- Гинекологов народ заждался, - сообщил Измаил Евгеньевич, а Радик Волоков определил:

- Не иначе, как Талалаева наслушался. По его стопам пойдёшь, Евгеньевич?

- Быть может, по его стопам, а быть может, и сам догадаюсь. Куда кривая вывезет.

- Между прочим, - запальчиво кричит Каменский, - из-за таких, как ты, Пашутин, равнодушных, к Талалаеву в институте подлое отношение!

- Ты, Кремень, сеешь ветер, - невозмутимо отзывается Юра Пашутин. - А пожинать бурю, по-твоему, будут другие. А ты отсидишься? Или как?

- Ты, Пашутин, отсиживаешься...

- Ты ищешь поддержки в общественном мнении, Юра, - смягчает дискуссионный накал мудрый практик Радик Волковысский. - Между тем, пытаешься проникнуть в никак не доступную тебе сферу, где ты полностью бессилён, и где твоё мнение решительно ничего не стоит. Неужели ты всерьёз надеешься, что таким, как ты, горячим, удастся отстоять Талалаева? - спрашивает скептически настроенный Радяй. - Ты всего лишь студент, а те студенты, которые восставали против царя, ушли безвозвратно. Новый строй установлен навсегда. И развивается к всеобщей пользе.... Поэтому, по ассоциации, я полагаю, распри среди профессоров и доцентов нас никак не должны касаться.

- Вас никого не касаются. Меня касаются!

- Берегись, брат Радий! Сейчас он тебя клонет, - меланхолически предупреждает Шуцкин.

И тут удар опять наносит беспощадный Пашутин:

- Всяк сверчок знай свой шесток. Не кажется ли тебе, пан Каменский, что ты борешься с ветряными мельницами, здесь, в 43-й? Народ мутишь? Или как? Ладно, я тебя оставлю с последним словом на устах. Меня в 39-й гири заждались.

- Гири – это хорошо, - Федя Волобуев аж облизнулся. Согнул руки, поднятые на уровне плеч. Мощные бицепсы заиграли.

- Скучные люди, - сказал и не спрятал зевоту Каменский..

После ухода обоих как-то растворился и он.

В голосе Оптимиста слышится любование:

- Этот человек неотвратим. Истинный Кремень!

А Шуцкин, прежде чем лечь спать, констатирует:

- Пашутину кажется, что он лишь дразнит Каменского. А на самом деле бьёт по больному месту. Кремень драчуном не родился. Таким его жизнь сделала. Но плохо ему придётся, если влезет в чужую для него драку в институте.

- Одним словом, - поясняет Радик Волоков, - двое в драку...

- Двое в драку, третий в клоаку, - заканчивает Шуцкин.

И тут уже более чем уместно вместо насадной политики отдать дань своему, родному, а именно: у каких животных вместо отдельных органов для выделения отработанных отходов одно единственное отверстие?

Все в 43-й блещут осведомлённостью, и естественно, что чем меньше конкретных знаний, тем больше апломба.

У рыб есть, а у акул нет. Акула – не рыба, но кто?

Рыба, но...

А как обстоит дело с млекопитающими? Отстаньте, откуда что возьмётся...

И гасит дискуссию тот же Шуцкин:

- Утконос и ехидна опорожняются через клоаку. А и тот, и другая *млекопитающиеся*.

И все умолкают перед осведомлённостью человека, читающего литературу на всяких чужих языках.

Семага уже успел в умывальнике почистить зубы перед сном и принёс полный чайник горячей воды из титана. Пусть стынет. Если ночью кому-то пить захочется, бежать никуда не надо.

И допел грустную песню:

*А мавадооова канагооона
Несут с рразбитой гававооой...*

Семага, когда несёт воду в чайнике, всегда поёт шахтёрские песни.

Папа у Семаги забойщик с огромным подземным стажем.

Сёма до института тоже успел поработать в подземельях, *давав стрране угвя, мевкого, но ... много*. Его слова.

Две младшие сестры Семагины тоже учатся на врачей, живут на Твери.

После института Семага поедет работать на родину, в шахтёрский Кузбасс.

И обе сестры, получив дипломы, последуют за ним туда же.

Оптимус в чём-то проигрывает Каменскому. Если пробессонничает ночь или две, то непременно сообщит:

- Лёдя, я не спал пятьдесят четыре часа...

Или пятьдесят семь... или там ещё сколько-то.

У Кременя дежурств не меньше, но ему не привыкать к лишениям, и говорить об этом он не считает нужным. Его хвалят за выносливость, он обрывает:

- Брось трепаться, Володька!

Или просит:

- Брось, Пашутин.

Зато в разговоре о любом *деле*, хоть бы пусть и не медицинском, будет с тобой внимателен и деликатно терпелив.

Обсуждение захватывает, и Кремень выпросит так, что сам не остановишься. Перебивает, уточняет понятия и термины, задаёт наводящие вопросы, скорее, скорее – и так, елико возможно, добирается до сути.

Вначале Кремень поселился в 39-й комнате, ему там не понравилось: уходят на занятия, поворачивая гири, приходят – ворочают гири, ночью просыпаются, чтобы ворочать гири! И так целыми сутками!.. Угрюмо так, неласково ворочают. А Каменский любит больше ворочать языком, чем гирями. У него языком лучше получается. Поэтому на койке Кременя, выстоянной в очереди у хозяйки, часто отсыпается кто-то другой, из тех, кто и без ордера, и ночными бдениями в 43-й мало интересуется

Не выдержав и трёх дней, Каменский перебежал, в 42-ю, обменявшись с кем-то ордерами, и стал своим в 43-й.

Очутившись в 43-й, слово за слово поведал, как вынимал ордер из институтских трущобных бюрократов. Сходил к Рокотухину в деканат, был отправлен в хозяйку к Стафиевскому.

Стафиевский предложил собрать восемь подписей: староста курса, профорг, староста группы, медпункт, санэпидстанция (на завшивленность), ещё куда-то, язык перечислять устанет. Собрал, снова к Рокотухину, от него опять к Стафиевскому. Чёрного кобеля не отмоешь добела.

Витя Шуцкин, опустив по-рокотухински углы рта, продекламировал:

- *Идите к Стафиевскому. Всё в руках Стафиевского...* Он меня так же гонял. По кругу.

Дебаты о клиническом мышлении

Дебаты – чисто мужское дело.

Не то чтобы девушки избегали вступать в мужские споры. Просто особ противоположного пола, во-первых, не звали, во-вторых, дебаты вообще всегда возникали практически спонтанно –

зацепится кто-нибудь за слово, потянет нитку, а та в игольное ушко никак не пролезает, давайте уточним. Обрежем, наростим, отточим, подвинем – и мысль со всех сторон обкатаем, так, чтоб никто не уходил, дверью хлопнув, оставив за собой последнее слово. Так, стало быть, в-третьих, у женщин подобного терпения не достаёт. И наконец, в-четвёртых, и жарко в 43-й, и накурено до потемнения в глазах и до того, что непривычная глотка уже на третьей минуте пребывания здесь начинает чесаться, лоб и нос морщатся, чихнёшь ненароком, а что дальше будет – и подумать жутко. А девушки у нас все, как правило, к папиросам интактны, не употребляют.

Позиции при дебатах разные, да и позы тоже никто задавать не думает. Иной валяется на чьей-то койке, иные тесным рядком пристроились сидеть на другой кровати, а этот стоит, а тот паинькой смиренно восседает на табурете, а Вова Чудов, расчистив место, на столе присядет, либо, расчистив опять же, на тумбочке...

И к делу, коллеги, поедемте, милые!.. Итак, что же есть оное клиническое мышление, и, ежели существует, то чем же и отличается оно от неклинического...

- Стоп, не клиническое, а доклиническое!

- Как вас понять, батенька? Пришёл, увидел, победил, верно?

- Ага, победил. Как же-с. Рокотухин не велит писать *status idem*, *состояние прежнее*, в историях болезни, в дневниках наблюдения. Потому что не отражает динамику наблюдений.

- Например, студент-куратор пишет: сегодня *статус идем*, завтра *статус идем*, через неделю *статус идем*. Наконец и заключение последует: *больной умер*.

А на патологоанатомической конференции Талалаев, как обычно, флегматически скажет:

- Отчего скончался пациент, из истории болезни выяснить не удалось.

- А вы Талалаеву в ответ: а на что в прозекторской патологоанатом?

- Ты, доктор, нужен еще в период до того, как больного вывезут на стол в морге, - веско напоминает Волковысский.

- Для постановки диагноза и проведения терапии!..

- Ну, да, правда же – к прозектору всегда успеем... - уже заметно взвинчивает обстановку и себя в ней Юра Каменский.

- Движемся по кругу, коллеги, так что же такое оно, клиническое?

- У постели больного.

- Выявить все симптомы, собрать воедино, не пренебрегая самой малой тонкостью, самой незначительной мелочью, ибо в ней-то чаще всего и таится кощеева игла... из мозаики с пропущенными костяшками сложить целую картину...

- Непробуемо...

- Для постановки диагноза и необходимо усвоить терминологию, что как называется, А если не усвоил во время, пропустил – потом аукнется, будешь всю жизнь гоняться за собственной тенью, - говорит Каменский.

Относительно клинического мышления (образно говоря, применяемого у постели больного) каждому много чего есть заметить.

Ибо – аналитических ограничений в клиническом мышлении нет.

- На то оно и клиническое.

- Беспредельное.

- В психиатрии так же?

Юра Пашутин:

- Психиатры ещё не сказали последнего слова, а если скажут, никому легче от этого жить не станет.

Радий Волковысский:

- Хорошо. Психиатры любого спросят: а не проверить ли тебя по нашим ГОСТам? Что-то ты больно витиевато стал разговаривать. Или к водочке пристрастился. Допустим...

Дальнейшие рассуждения чреватые переходом на личности. Лучше не надо!.. И тут, как правило, командует Волковысский:

- Всё, мальчики. По домам, сиречь, по койкам!..

Страна и мир, зовущие к себе

Вот так и понеслось: профессора (какими быть надо, и какими быть не надо, и какими мы станем, либо какими не станем); томительные или, по контрасту, яркие лекции, и, не снимая белых халатов, практические занятия; курация больных в клиниках с написанием *историй* и собиранием *анамнезов vitae* и *анамнезов morbi* (анамнезов жизни и анамнезов болезни) и описанием динамики состояния пациента по ежедневным наблюдениям (дневники); коллоквиумы и зачёты – предтечи экзаменационных сессий. И, наконец, по графику наставали сроки – и являлись по наши души сами сессии.

Столовки, библиотека, спортивные секции, самодеятельные и научные кружки, а вечерами, ночами напролёт и по воскресеньям – бесконечные *дебаты* в 43-й.

Глубокая провинция, Сибирь. Мединститут. 50-е годы.

Середина двадцатого века в Советском Союзе – в самом из самых особенных, единственно возможном для этих людей государстве на земле.

И незабвенная рутина. И неизбывная святая бедность охотников за знаниями, и мощь интеллекта, которой и любая нищета нипочём. И взрывная информация, и бурное начало нового подъёма и новых отношений, да разве это забудется...

И любовь, у кого какая она получалась: любви не прикажешь.

А, если одним словом, то

*Любовь нечаянно нагрянет,
Когда её совсем не ждёшь,
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош.*

Так, следуя за Утёсовым, поёт в общежитии на Розочке студент Сердобинцев, подыгрывая на гитаре и не заглядывая в сборник «Звени, наша песня», принадлежащий студентке же Лине Башкировой.

Двадцатый век.

Двадцатый съезд.

И девизы из песен, звучавших не только со сцены:

*Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.*

(Н. Букин. «Прощайте, скалистые горы». В кн. «Звени, наша песня». Сборник песен. 1950. Принадлежит Лине Башкировой. Между прочим, вспоминается: одна из любимых песен Лиры Глебовны: *Прощайте, скалистые горы, На подвиг Отчизна зовёт!*).

А море и вправду было штормовым и открытым, а поход предстоял таким же – и суровым, и дальним.

Они избрали профессию. Профессия избрала их.

И резкая перемена судьбы ждала каждого.

Полярный перелом наступал и в стране, и в народе, и в каждом из граждан...

Глава восьмая. Прощанья и встречи

Клопус вульгарис!

Чаликов сбежал из 43-й.

Объяснение звучало правдоподобно:

- Отсюда в институт надо ходить пешком, а у меня нога больная.

На Розочке (общежитие на улице Розы Люксембург) остановка трамвая рядом с домом.

Теперь у Семёнова своя койка. До этого с самого вселенья спать приходилось на чьей-то свободной кровати. Наконец, удалось склонить на обмен Чаликова.

Сходили переписать ордера в хозчасти.

Семёнов какое-то время ленился, не захотел возни с ордерами: и так хорошо.

Чаликов настоял:

- Иначе не перееду.

Мудрый Волковыцкий – тоже:

- Сделай. Мало ли что... Зачем тебе неприятности?

Имущество из прежнего общежития подхватил и понёс Оптимус. Как это сделал отец, провожая Лёвика на вокзал перед отъездом в институт.

Семёнов, не успевши взяться, предложил:

- Дай, я!

Оптимус отрезал:

- Оставьте, Лёдя!

Имущество умещалось в пёстром фанерном чемоданчике. Там были бельишко, бритвенный прибор, мыло и зубные порошок и щётка, кроме того – тетради, карандаши, учебники, настольная книга про Остапа Бендера, откуда и вычитано было, а затем принято в 43-й любезное обращение на «вы».

- Не делайте из еды культа, - сказал Остап, вырвал у Паниковского огурец и съел его сам...

- Валиадис ему палец в рот не положил бы...

«Антилопа-Гну»... Туальденоровый чертог... Пикейные жилеты... Ухудшанский...

И всего прочего без меры.

Всю дорогу шли молча. Оптимус только один раз сменил руку, хотя всё же чемодан тяжёлый, будто вместо книг набит кирпичами.

Конец сентября, бабье лето, не холодно. Но Оптимус носит на улице (да и дома не всегда снимает) круглую зимнюю кубанку. У него особенный *модус вивенди*, образ жизни, требующий для своего содержания забот и энергии. Например, всегда имеется запас крахмала. Зачем? Для воротничков. Крахмальный белоснежный воротничок он может пристегнуть к рубашке серого или зелёного цвета. Зато цветную рубашку спрячет под чёрным шёлковым галстуком и шерстяным пуловером. Пуловер берётся взаймы – у Каменского или Феди Волобуева из 42-й, или у Чаликова, которого коробит от беспардонной фамильярности, но отказывать неудобно (Чаликов, собственно, и сбежал из-за нагловатых повадок Оптимиста Саянского). Сверху *фрак* – довольно поношенный пиджачок, лацканы и рукава которого тщательно проглаживаются, ни единой морщинки, не говоря уже о спине и боках. Так же и брюки. Семёнов отмечал: об их складки можно до крови порезаться... Будучи изношенной до предела, штанина не теряет складку и едва не распадается надвое по линии сгиба.

Почему *фрак*, а не *сюртук*, скажем? Но это же очевидно: *фрак* – звучит изысканней.

Оптимус – термин латинский: лучший. Говорят так же: Оптима, Оптимист Саянский, Старый Оптимист. Изредка – Саянец, но это мало употребительно. Также его называли Человеком с рассечённой губой. Верхняя губа действительно была, что называется, заячья. Ещё одним прозвищем было Белый Человек – большелобая голова под кубанкой венчалась изжелта-белым чубом. У него красные глаза альбиноса. А прозваний для Оптимуса в 43-й, если возьмутся, насчитывают до двадцати трёх. Товарищей Оптимус называет чаще на «вы», чем на «ты», недругов только на «вы».

... Когда, осуществляя семёновский переезд, они вошли в 43-ю, то Коля Сынок бегал по койкам. И Витя Шуцкин бегал. Гремя железными сетками, носились, взмахивали руками, у Виктора давно не стриженные волосы высоко взлетали.

Пар витал. В сорок третьей клопоморством занимаются чаще, чем в других комнатах – стена, общая с кухней, жарко. Клопы, только их выведешь, снова обратно сбегаются. И:

- Вульгаргрис! Клопус вульгаргрис! - тяжело выговаривая «р», как химик Бородкин, даже голосом Бородкина, самозабвенно вопил Витя Шуцкин.

И ещё громче принялся кричать Витя Шуцкин голосом Бородкина, умиряющего усталую аудиторию, когда появились Ковлешенко с Семёновым:

- Рабочий шумок. Хе-хе. Хорошо!.. Рабочий шумок. Не запрещается...

А Коля Сынок сконфузился, видимо: шестикурсник, без пяти минут врач всё-таки. У него была обута лишь одна, левая нога. Ботинок с правой Коля держал в руке и то и дело им – хлоп! хлоп! – по стене, по полу, по железным штангам кровати. И приговаривал не пародийно, а достаточно внятно:

- Клопус вульгарис! Клопус!..

Стало ясно: опять клопы в общежитии, хорошенькое дело!

Глядя на веселящегося Шуцкина, Оптимус задумчиво молвил:

- Каждый развлекается, как умеет.

Оптимус быстро закатал рукава рубахи, штанины завернул, нагнулся, чтобы взять из-под кровати жестяный таз, скомандовал:

- Лёдя, вода должна быть горячей.

И Семёнов послушно засновал в кухню, из кухни, к титану и от него.

Матрацы и чемоданы вместе с верхней одеждой без всякого бережения выкидывались в коридор: койки, стол и тумбочки переворачивались, кипятик лился потоком из сине-голубого чайника, комната превратилась в парильню, из окна потянуло паром, будто из пимокатной мастерской.

И дустом их, дустом, вульгарисов чёртовых, леший их забери!..

По общежитию полз шумок: в 43-й большой аврал.

Подходили, качали весёлыми головами, но и задумывались: у них есть клопы, так ведь и мы ж не заговорённые, живём-то здесь же. Грызут, подлые. И надо что-то делать.

Оптимус орудовал среди пара, точно матрос на палубе. По коридору пробирались люди, как осторожные путники среди степных курганов. Вещи, заносимые назад, в комнату, подвергались тщательному осмотру хозяевами 43-й – ради тотальной обработки неприятно пахнущим порошком, который Оптимус некогда добыл на рынке и приберёг для такого внеочередного аврала.

Федя Волобуев: любовь на крыше

Подходя к общежитию, издалека услышишь:

Ай, да, Федя, Федя, Федя,

Ходит ласковым медведем...

Знающий человек не ошибётся: это Семага и Коля Сынок дуэтом поют песню, специально сочинённую для них Семёновым. Сидят на Колиной койке и режут громовыми голосами:

Лучше мимо проходите!

Лучше мимо, мимо, мимо!..

Вот как полностью звучал текст этой песни:

Ай да Федя, Федя, Федя,

смотрит ласковым медведем.

Лучше мимо проходи,

а не то, как попадётся,

прямо к бронзовой груди

так прижмёт, что задохнёшься.

Лучше мимо проходи!

Ласковым медведем Фёдор, в широченных шароварах, не надевая, однако, рубаху и майку, ходит, как известно, из 39-й (где гири) в 43-ю в поиске – кого бы приласкать, приголубить, приобнять чуточку. Приобнял нового человека Семёнова, тот часа три потом щупал собственные рёбра – нет ли поломки. Теперь глядит в оба: не нарваться бы снова на дружелюбного Федю.

Фёдор начинает загорать в конце марта, когда солнце – если сядешь за ветерком – горячее и ясное. Федя сидит спиной к свету на подоконнике, греет кожу. Снег с крыши сойдёт – лезет Федя на крышу. Лежит там, как на пляже. На коньке крыши присядет, трубу руками обхватит, застынет – ловит на себя солнышко.

Иногда берёт с собой на верхотуру подругу Варвару, ласкает, голубит, но бережно, чтоб и ей было приятно, и с крыши, заласкавшись, не свалиться обоим. Скорее даже не он Варвару приглашает, а она за Федей увязывается.

Летнего загара хватает Фёдору на всю зиму. Смуглая, выразительная мускулатура его точь-в-точь, как у того юноши, что нарисован в анатомическом атласе в разделе «Мышцы».

И с лица оба похожи.

Словно с нашего Фёдора срисовывали. Не наоборот же.

По весне Фёдор садится на велосипед и катит к себе на родину, в Юксу, за двести сорок километров. На рассвете стартанёт, до ночи управится. На таёжном тракте обгоняет грузовики, от встречных машин не сторонится. За то и пострадал, дурень. Однажды не успел проскочить между ЗИСом и тракторным прицепом-поездом, отделался сравнительно легко – лишился лишь нижнего века левого глаза. Варя ещё больше любит героического Федьку. А глаз сохнет, на кафедре глазных болезней пообещали:

- Сделаем пластику, не то ослепнешь.

Ждёт очередь на операцию.

В позапрошлом году Федин отец сказал:

- Теперь, сынок, ты взрослый. Не ты мне – я тебе помогать буду.

С батиной помощью Федя стал строить дома в Юксе. В колхозе нуждающихся в жилье хоть отбавляй. Собралась вокруг Фёдора на подхвате, какая-никакая, а бригадёшка. В тайге валили сосны, на пилораме готовили бревна, собирали срубы, настилали полы, крепили крыши. По наличникам Фёдор пускал нарядную резьбу. Печи складывали вдвоём с отцом. Так за лето поставили четыре дома. Сбоку крыльца на них солнцем через увеличительное стекло навсегда вырезан автограф «Фёдор».

В 43-й Фёдор много не говорит, больше слушает. Иногда шуточку отпустит. Необидные Федины шуточки, а помнятся долго. То же и на занятиях: такое выкинет, а Подсельский принесёт в общежитие – смеху в 43-й на два дня хватает.

Одна межвузовская войнишка началась в коридоре на Твери. Двум политехникам не хватило пространства с Федей разойтись, повздорили. Выскочил Подсельский, юркий, маленький, отчего-то на тот час в красивом цирковом костюме серого шёлка – для показательных выступлений.

- Кого вы бьёте? Федю? Федруччо дель Донго! Тебя обижают! - с криком бросился он на политехника внушительных габаритов.

Защитил, значит.

А за спиной уже маячил Оптимус, у которого кулаки всегда чешутся.

Что дальше было, на Твери стараются вспоминать пореже. Политехники мигом примчались. Медики уже стеной стояли на мостике через овражек на Ремесленной улице. Обе толпы сошлись, и были пострадавшие, но до милицейских органов дело, к общему для сторон удовлетворению, никто не доносил.

Предполагалось, однако, следующее: возможно, именно про ту коллективную драку рассказывал вражеский голос под радиоглушилки. Будто бы в Сибири, конкретно в старом университетском городе, не стихают студенческие волнения.

- Если это волнения, - отозвался на слухи о чужих клеветах Юра Пашутин, - то я папа римский.

Федя, гостя в 43-й, не присядет весь вечер, покуда не стихнут *дебаты*, кое-когда приобнимет зазевавшегося, кое-когда всхотнёт так, что все вздрогнут. А кончится вечер – и возвратится Федя обратно, в 39-ю.

К себе, в анатомический атлас.

...Но ведь и отрицать не станем: не после той ли удалой забавы сошли на нет традиции сибирских войнишек, да и сами войнишки растаяли за ненадобностью, а приходящие за любовью

политехи получили бессрочный и беспрепятственный доступ на Тверь к заждавшимся подругам и невестам?

По некоторым кулуарным данным, сильно поредели, можно сказать, опустошились и стройные когорты наших незаконных оппонентов. И тут, согласно рассказам современников, сработала цепкая рука subtilного, малорослого человека с нашумевшей фамилией *Драгунчик*. Дали ему карт-бланш подирижировать бюрократической сабелькой, и нескольких приказов за разгонистой подписью товарища Драгунчика хватило, чтобы навсегда обескровить *войнишку*...

Бывает и так, бывает. Всё на свете бывает.

В свой срок, отпраздновав, как принято, обретение дипломов орденоносного медицинского института, отбыли навсегда из нашего города и бесследно растворились в рядах советского врачебного сословия фиксатые вожди движения под названием Войнишка – Постукальский и Поркин.

Оптимист Саянский приложил недюжинные (и результативные!) усилия к тому, чтобы не остался без высшего образования его отец Владимир Иванович.

Уехал в посёлок Юксу и поселился там, в заранее заготовленном собственном особняке, с молодой женой Варварой, готовой следовать за ним в огонь и в воду, и, коли приведётся ещё когда-то, на крышу тверской обжитки, человек из анатомического атласа Фёдор Волобуев.

Измаил Евгеньевич Подсельский, неустрашимый защитник обижаемого Федруччо дель Донго, тоже уехал.

Остался лишь перед многотерпеливым экраном послушного его вдохновенным усилиям компьютера до конца преданный ненаглядным своим героям правдивый дяденька-романист, и сильная, супервыносливая клавиатура пока выдерживает оттренированный напор его воображения.

А значит, события рассказ о тех событиях продолжается.

Обжитие на Розочке

Расставаться с прежней общагой оказывалось гораздо трудней, чем предполагалось. Семёнов искал всяческие предлоги, чтобы снова бывать там. Совершенно необходимо, допустим, забрать учебник у Чаликова, посмотреть, как в неприспособленном помещении ухитряется печатать фотографии Марат Буксман, или послушать брэнчанье на гитаре Максима Сердобинцева.

Будто на многокилометровом резиновом поясе прикрепили: шагаешь, а пояс натягивается, чуть ослабнешь, он тебя опять на Розочку утянет. Зря ищешь предлоги, друг Лёвик, – ни себя, ни два общежития не прехитришь и не обманешь: ходишь туда, чтоб увидеть Лину.

Лина говорила равнодушно:

- Ты опять прискакал, заяц?

И пробегала к себе в комнату, откуда вскоре, забрав подруг, отправлялась на весь вечер – мало ли куда: в читалку, на каток, в концертный зал, просто гулять по проспекту. И почему-то она всегда только подруг берёт, а никогда не позовёт его:

- Хочешь пойти с нами, заяц?

В ней чувствуется сила: как захочет, так и поступит.

В самом начале, буквально в первый час семёновского поселения здесь, она бурей ворвалась в комнату к первокурсникам и бесцеремонно стала распоряжаться:

- Мальчишки, кто-то из вас должен немедленно отправиться дежурить у входа.

- Следить, чтоб двери не украли? - сказал Падымов.

- Следить, чтоб посторонние не проникали в общежитие. Свои насмешки можете оставить при себе. Через пять минут дежурный чтобы сидел на посту.

- А вы кто такая?

- А я – член факультетского бюро.

- Важная птица.

- Какая есть.

- А можно узнать, как вас зовут?

- Можно, только осторожно. А зовут меня Лина Башкирова.

Ушла. Дежурство распределяли по жребью. Выпало сидеть Семёнову.

Приходят политехники в гости, оставляют на тумбочке у дежурного студбилеты, а нагостившись – забирают обратно. Девушки их провожают.

И не страшно, и не интересно.

И ничего примечательного.

Случайные товарищи по комнате доживали в ней последние дни. Падымов не прошёл по конкурсу в мед и говорил, что собирается в следующем году поступать на юрфак университета. Они с одноногим Шароновым, тоже завалившим вступительные, пили водку, Падымов запевал:

Ой, да хорошо весной на Волге...

Или:

Под городом Горьким,

Где ясные зорьки,

В рабочем посёлке

Подруга живет.

Возможно, он любил Волгу и стоящий на ней город Горький. А Семёнов там родился, но из-за войны под гитлеровскими бомбами эвакуировался с мамой на одном из эшелонов, перевозивших автозавод, и поселился в Барнауле.

Шаронов, подвыпив, после пения долго ругал судьбу и кого-то, кто виноват в том, что ногу у него отняли почти до паха, и теперь жить нужно с костылями. В связи с этим Шаронов громко и долго матерился, скрипел зубами. Он тоже не попал в институт, а куда намерен поступать в будущем году и рассчитывает ли на удачу – не говорил.

Четвёртый, Леонид Слободяник, поступил в вуз лишь благодаря настойчивости своего брата Владислава, секретаря комитета комсомола института. Младший, Лёня, дразнил опекуна: Владильчик-Дурильчик, Владильчик-Крокодилчик.

А себя звал Леонильчиком, и Семёнова обзывал так же. Мол, мы с тобой два Леонильчика... Поступить-то сумел, да что толку – с учёбой не справился, и впоследствии, уже после первого семестра попал в начальную, самую мощную по масштабу струю отсева. И больше в институт не возвращался. Терпенья у Владислава тащить Леонильчика только на семестр и хватило.

Вот и весь состав комнаты.

Семёнов часто видел Башкирову в институтских коридорах. Красива ли она, не умел разобраться. Изящная маленькая фигурка, своеобразные волосы – кудрявая чёлка надо лбом, локоны по плечам. Весь облик – решительность и целеустремлённость. Она на третьем курсе, и постоянно в действии, всегда занята чем-то недоступным для первокурсника Семёнова. И вот он тоскливо нюхает буксманские фиксажи, слушает, подавляя зевоту, сердобинцевскую гитару.

Ждёт: вдруг появится.

Изредка мелькала, у него пересыхало горло.

Однажды пришёл вместе с Каменским. Юрий на одном курсе с Линой и с Klarой Землянкой, с Маратом Буксманом и Максимом Сердобинцевым.

Максим играл на гитаре. Внезапно Юрий удивил всех. Запел, в упор глядя на Семёнова:

Пусть другой вернётся из огня,

Скинет с плеч защитные ремни.

Лина!

Полюби его, как и меня,

Крепко, нежно обними.

Максим легко подобрал мелодию к незнакомой для него песне.

Все хлопали. Просили продолжать.

И прозвучала песня, пропетая с не менее глубокой тоской:

Здесь, под небом чужим,

Я как гость нежеланный,

*Слышу крик журавлей,
Улетающих вдаль.
Сердце бьётся сильнее,
И так хочется плакать.
Перестаньте рыдать
Надо мной, журавли...*

Глаза его наполнились слезами. Девушки взяли за платочки. Сердобинцев, как должное, протянул гитару:

- Возьмёшь? Поиграй.
- Играй ты. А мы пошли. Лёвка, попрощайся с Линой. И с другими.
- Ты что, Юра? - сказала Лина. - С тобой что? Я думала, ты не так сентиментален.
- Считай, ошиблась. Прощай.
- До свиданья.

Клара Землянская не отрывала платочка от лица. С подбородка у неё стекали чёрные капли: слёзы пополам с тушью...

Исчерпав предлоги, Семёнов перестал забредать на Розочку.

Да и не к чему зря время тратить.

Окончательно освоился в 43-й.

Клара Землянская

По всему городу расклеены афиши. На огромных полотнах синими буквами обозначены названия спектаклей с картинками: «Табачный капитан», «Вольный ветер», «Весёлая вдова», «Сильва»... А поперёк проспекта, на уровне вторых этажей, протянут транспарант – *Гастроли театра музыкальной комедии*. Материя на ветру напрягается и щёлкает. В окнах заведений проспекта (магазины, столовая, кафе, ресторан «Север») выставлены крупные фотопортреты артистов в театральных костюмах: одни красавицы и красавцы. Возле этих витрин всегда людно – толпятся девушки.

Зато в самом театре, у кассы выставлена табличка более чем скромная, не крупнее открытки: «*Билеты все проданы на...*» – как раз на те дни, когда намечены спектакли гастролёров. А что делать? Надо было позаботиться заранее. Не зевай!.. Вот как поступили на педиатрическом факультете: на большинство постановок приобрели билеты за три недели до приезда театра. Не удивительно: при таком-то члене культмассового сектора факультетского бюро, как Лина Башкирова. Сама она не пропустит ни одного спектакля, и за билеты отдала почти всю стипендию.

- Ты, наверное, хочешь пойти на спектакли вместе с тем симпатичным мальчиком с первого курса, который иногда заходит к нам в общежитие? - не без подковырки спрашивает Клара Землянская. Лина понимает, что Клара хочет её задеть, и в таких случаях нельзя оставаться в долгу.

- Я просто люблю театр, - отвечает она. - А что касается мальчиков, то я не из тех, за кем они бегают дюжинами. У меня другие дела есть, более важные, чем приманивать мальчиков.

- Ты грубиянка, - вздёрнула плечами Клара. - С тобой нельзя разговаривать.

- А я и не прошу.

Мальчики, мальчики – только они у Клары на уме. А что на уме, то, как известно, на языке. А язык у Клары довольно длинный. Хочешь не хочешь, а приходится его укорачивать.

В театр идут втроём – с Линой две подружки ещё по школьным годам в кузбасском городе Сталинске, откуда они приехали поступать в институт. Свои – дальше некуда. Вот Лина им и говорит:

- Причём здесь мальчики? Я театр ни на что не променяю.

Пытается отвлекать ее Элла Орлова, взрослая, замужняя:

- Клара есть Клара, Лина есть Лина. Ваша голова – не моя голова, моя голова – не ваша голова: ты же слышала, как говорил наш уролог на лекции.

- Ты спокойная, Элка. Я тебе завидую. Меня выходки этой Клары возмущают. Только мальчишки на уме. Только мальчишки...

Элка действительно человек невозмутимый. И Настя Безматерных тоже.

А так они разные. Элка – худая и высокая, Настя – полная и коротышка. Лина идёт посередине. Носик вздёрнут, платок на плечах сбился, на лице ни румян, ни помады, ни пудры. И духи не признаёт: надо мыться чаще и не жалеть мыла, а духами балуются те, от кого пахнет.

Спор с Klarой у них непримиримый и давний.

Лина заявляет:

- В институте надо учиться, а не...

- А что *не*... Хоть бы знала... Я стипон¹² получаю, тебе мало? - Клара не даёт спуска. И начинает песенками злить Лину.

*Молодость не шляпа,
Новую не купишь,
В чистку тоже не отдашь...
О, богема! О, богема!
Как прекрасна наша жизнь!*

Клара первая устаёт от перебранки и отпускает резкие слова:

- Мы ещё посмотрим, кто из нас в жизни устроится лучше – я, какая есть, или ты, праведница!..

Кто-нибудь из девушек, находящихся в комнате, обязательно остановит спор, переведут на что-то более насущное. Например, на регулицию графика, кому из коммуны очередь завтра суп варить, и будет ли это суп-лапша или щи, суп-пюре гороховый или, наконец, рыбный, красный супчик из консервов «щука в томатном соусе».

Коммунарство

Привычка жить *коммуной* позволяет существенно экономить деньги на питание. И не только. Это сближающее разных людей вузовское обыкновение традиционно заведено во многих комнатах, и не у одних лишь девушек, у некоторых мужчин также, хотя среди данной категории небогатых студентов и распространено меньше.

Техника дела – проще некуда. Собирается группа из нескольких человек, чем-то объединённых, чаще потому, что проживают в одной комнате общежития, проводится калькуляция расходов на месяц, вкладчину набирается нужная сумма, согласовываются подбор продуктов и меню, посильно разнообразное, сообща закупаются припасы, утверждаются списки дежурных поваров.

И у Клары, и у Лины родители богатством не блещут, а стипендии у обеих обычные, не повышенные. Так что деньги на неотложные нужды (те же билеты в театр) должны оставаться помимо непреложных затрат на питание.

Коммуна, разумеется, дело добровольное. Хочешь, вступи в колхоз, не хочешь – ходи в единоличниках.

Однако находиться в стороне от коммунарства и житейски невыгодно, и по негласной этике неудобно перед подругами: выламываться из коллектива нехорошо однозначно. И потом: удержишься в той же читалке или в кино, либо, скажем, допоздна проженихашься с парнем, прибежишь домой, погибая от голода, и уж точно несытой спать не ляжешь: всегда найдётся, что пожевать, твоя порция тебе оставлена, тёпленькая кастрюля с кашей нежится между подушек, да и печка, на которой можно разогреть еду, теплится, и титан с кипятком – лей, сколько хочется.

Негласный уговор: враждующие партии стряпню друг дружку не хвалят, но и не ругают. Примирительный лозунг – «*Ешь, что дают*» – один для всей комнаты. При возникновении штормовой погоды в отношениях, хоть камни с неба сыпья, хоть белугою реви, но не смей игнорировать основные требования: пища должна быть горячей, съедобной (по возможности

¹² Стипон – стипендия (жарг.). Экзамены сдаёт без *посов*, на хорошо и отлично, и поэтому получает стипендию. (Прим. автора)

вкусной) и вовремя приготовленной. Нарушений пока не фиксируется. Если очередной дежурный болеет или отсутствует по важной причине, замена всегда находится.

Бывает, коммуна в начале учебного года не возобновляется или в ходе учёбы переживает распад. Но это случается крайне редко. В целом же *коммунарный* быт, установленный по необходимости нашими предшественниками ещё в рабфаковском периоде истории советского студенчества, устойчив и плодотворен.

Но есть и исключения. Наглядным примером может служить хотя бы и анархическая 43-я. Ордера на 6 кроватей, а собираются на ночные *дебаты* до 20 посетителей. И накормить такую ораву, и наготовить на неё – мы ж вам не ресторан «Север», в конце концов!

Да и кто будет забивать себе голову сугубо посторонними вещами, тем паче вместо *дебатов* регулярно маяться у печки? Кремень? Оптимист Саянский? Коля Сынок? Витя Москвичёв-Шуцкин? Лёвик (Лёдя, Лёон) Семёнов? Шестикурсники Семага и Радик Волковысский? Ваня Снегирёв, который у Матвеича в детках ходит? Измаил Евгеньевич Подсельский, Фёдор Волобуев, Юра Пашутин, Вова Чудов или, наконец, Матвеич, сама солидность?.. Кто?

Отстаньте и не смешите!

Театральный момент

- Я всё думаю, девочки, как это несправедливо, - продолжает Лина. - Такая Клара. Ну что из неё за врач? Да и из меня, если разобраться. Я ведь всю жизнь мечтала о сцене...

- А я хотела строить корабли! - признаётся Элла.

- А я – сниматься в кино, - подхватывает Настя.

- И, если бы Ася нас всех не уговорила, - тоскует Лина, - мы были бы далеко-далеко отсюда... Бедняжка, она одна из всего нашего класса мечтала стать врачом.

- У нее ещё в девятом классе был халат, - вспоминает Элла.

- Я так и не поняла, что там у неё с документами? - спрашивает Настя. - Из-за чего её не приняли?

Элла, всеведущая, разъясняет:

- У нее в паспорте написано, что он выдан на основании каких-то бумаг о раскулачивании её родителей. И, хотя она сдала на пятёрки, ей сказали: знаете, с вашими бумагами лучше быть подальше от медицины. По-моему, это неправильно. Дети не отвечают за отцов. Как ты думаешь, Лина?

- Я знаю только одно: мы говорим об этом исключительно между собой. Почему никто не решается сказать вслух? Ведь с Асей поступили несправедливо.

- Ой, девчонки, кончайте вы этот разговор! - просит Настя. - Как бы он нас кое-куда не привел вместо театра... Все равно ведь не разберёмся...

А вот и театр. Родным повеяло...

Знакомая толчея: у дверей, на вешалке, в фойе. Сутолока на лестнице, ведущей в бельэтаж. Как назло, билеты у подруг – в ложу бельэтажа.

Наверное, будет плохо видно.

До начала спектакля ещё пятнадцать минут. Можно с балкончика бросить взгляд на то, что творится в фойе первого этажа.

- Девушка, вы не боитесь свалиться вниз? - слышит Лина неоперившийся мужской голос. - А то бы я вас подхватил.

Она оборачивается. Чернявый, с усиками, незнакомый юнец улыбочиво смотрит в её сторону. Лина провожает его неласковым взглядом. Абсолютно незачем вступать в праздный разговор с первым встречным.

Внизу она видит красивую, рослую девушку, светлые волосы не распущены по моде, а собраны и заплетены на затылке в *халу*, глаза устремлены вверх, на лице досада, надо кого-то рассмотреть, а из толпы не прорваться.

Лина бежит вниз по лесенкам, издалека кричит:

- Эльза!

- Вот так встреча, - говорит Эльза. Они крепко-крепко пожимают руки друг дружке, хочется поцеловаться, но неудобно: кругом люди. Они счастливо смеются: вот так встреча!

- Что ты здесь делаешь? - спрашивает Лина.

- Брата моего не видела? Чёрненький, усики подбриты...

- Ко мне такой пытался приставать. Похоже, он.

- Хорошо, он здесь, я спокойна. Дала ему контрамарку – явился, не запылится. А то совсем от рук отбивается...

- А вообще ты как здесь оказалась?

- Я в труппе. Веду литературной частью. Иногда подменяю заболевших танцовщиц в кордебалете, окончила специальную школу. А мой муж – Игорь Терпигорев. Он поёт. Ведущий солист.

- Я знаю. Я видела афиши. Значит, ты теперь в театре.

- Работаю в оперетте, чтобы постоянно быть возле него. С ним рядом. А ты чем занимаешься?

- Я студентка-медичка.

- Ты же хотела ехать в театральное училище.

- В то время я испугалась, думала – не поступлю. А сейчас уже поздно менять. Вот так, Эльзочка, зайчик.

Они встречаются после спектакля, долго гуляют ночью – от гостиницы к общежитью, от общежитья к гостинице. У Эльзочки после работы гудят ноги, завтра и послезавтра по два спектакля в день, надо бы уйти отдохнуть, но, судя по опыту, расстаться легко, а свидишься ли потом – не известно.

Возможно, новой встречи никогда и не будет.

Перед войной Башкировых, как семью ударника пятилеток, поселили не в бараке, а в отдельном деревянном доме на две семьи, почти рядом с проходной комбината. Потом посёлок первостроителей снесли, дали квартиры в новых домах со всеми удобствами. Но домик запомнился, как что-то отрадное.

Неподалёку текла речка, быстро и необратимо сделавшаяся сточной канавой для отбросов производства. За речкой, на пустыре работал цирк. Когда приезжали артисты, то некоторых селили в доме у Башкировых. Маленькую Лину артисты любили, в том числе за *цирковое* имя, приглашали на представления.

Не рано и не поздно она узнала: имя выбирал отец. Очень её любил. Родственники пожелали, чтобы она была Алевтина. В парткоме не посоветовали: старомодно. Алина, быть может? Ему не глянулось. Убрал первую букву. Получилось по-советски, невычурно: Лина...

Во время войны цирк перестал появляться. Лина изо всех сил старалась хорошо учиться, а также варила маме кашку из круп – овсянки, пшена или перловки, из того, что выдавалось по карточкам. Выстаивала очереди за хлебом. Брат Николай относил еду матери...

Лина вязала шарфики, шила рукавички, в посылку вставляла записочки: «*На фронт, дорогому бойцу*». Втайне надеялась, вдруг одна такая посылочка дойдёт до отца, он будет носить шитые ею носки и рукавички.

Родственница работала билетёром в городском кинотеатре, Лину с подружками пропускала без билетов и усаживала на хороших местах. Как-то раз в кино показывали Сталинградскую битву. Можно было от души порадоваться за наших героических бойцов. И вдруг девочка увидела на экране отца и закричала на весь зал:

- Папа! - и разрыдалась.

... Она так мечтала, чтобы он возвратился живым.

И он возвратился, и он совсем не старый мужчина... а мать такая больная.

Сманили его. Увели его от троих детей и от их матери. Осуждать его язык не повернётся.

Жилось тяжело, сильно голодали.

А ведь ещё недавно в цирке будто волшебная сказка игралась.

Во дворе был настоящий зверинец. Дети любили белого мишку, который весело плескался в яме с водой и был доволен жизнью. Дрессировщики Гантимуровы позволяли ближе подходить к большим клеткам со львами и медведями. Под присмотром, конечно.

Дети откуда-то добывали целые пачки контрамарок и оккупировали галёрку.

Вот гаснет свет и раздаётся волнующая, ни на что не похожая музыка. Появляются люди. Лина знает, что они артисты, но это ничего не меняет, потому что они выросли из сказки и сказку представляют. Они сильные, молодые, красивые, одеты в лёгкие, сверкающие парчой, серебром и золотом костюмы. Таких одежд больше нигде и никто не носит. Вспыхивают зелёные, оранжевые, фиолетовые огни. Под куполом цирка высоко-высоко по узкой доске плавно проходит женщина. Все звуки стихают, музыка смолкла, один барабан рокочет. Внезапно зал замер и ахнул, ибо под наведённым лучом прожектора доска внезапно резко опускается, почти что падает вместе со стоящей на ней артисткой, и та, улыбаясь, легко становится на протянутый над ареной канат. Музыка снова, вальс, и под его звуки, обмахиваясь веером, прекрасная женщина шествует, как по воздуху. Чудо!..

Все замерли, муха пролетит, не услышишь. Музыканты примолкли.

Отважная акробатка спустилась с поднебесья, кокетливо стоит внизу, отставив ножку. Внезапно кто-то первым захлопал.

Старшая сестра Эльзы по имени Марта под несмолкающие аплодисменты зрителей долго раскланивается и, наконец, уходит. Она вместе со всей семьей и ровесницей Лины Эльзочкой живёт в том самом доме на две семьи, где и Башкировы.

Лину привлекают и в группе Ван-Ю-Ли – фокусников, канатоходцев и жонглёров.

Нынче, гуляя с Эльзой, Лина признаётся, что всё ещё хочет быть артисткой.

- Только не артисткой цирка! - испуганно восклицает Эльза. Хотя её дед и бабка, и отец с матерью, и братья, и сёстры – все, все посвятили себя цирку, но Эльзу пленить своей профессией не сумели. Ни своего дома, ни спокойствия – разьезды и разьезды. Эльза мечтает о настоящей сцене, она хочет работать драматической актрисой. Но перед ней тупик: надо быть с мужем. Возле мужа. Вот так, а не иначе. Хотя оперетта, в отличие от цирка, даёт хоть какую-то стабильность.

- Так ты определилась, и в драме себя не увидела, а заведешь литературной частью и подменяешь кого-то в кордебалете. Почему так получилось? - спрашивает годы спустя Лина, гуляя с подругой детства на ночной улице.

- Тут целая история, Линочка. Давай немножко пооткровенничаем. Можешь поверить: меня обуяла любовь с первого взгляда. Игорь мой горячий, порывистый, страстный. Ты его видела на сцене, в жизни темперамент бьёт ключом не меньше. В том-то и опасность. Наивный до предела. Несправедливости в театральном мире полным-полно. Игорь – Дон-Кихот, готов и за проходимца вступить, если убеждён, что того несправедливо обижают. Режиссёры выдвигают его на первый план: внешность, голос, умение вживаться в роль – талант настоящий. Естественно, завистники есть. От женских атак пока удаётся его отбивать. Я, как Марта на доске под куполом, каждую минуту боюсь оборваться и рухнуть с той высоты, которую с ним достигла... Но Марта не боялась...

- Кстати, Марта всё так же исполняет номер под куполом и ездит с цирком по разным городам и странам? Почему ты о ней так сказала – в прошедшем времени?

- Марточка наша отъездила. Нет её больше. Да, страховка у наших высотников предусмотрена. Но ремни так спрятаны, что публика не должна их видеть. Насчёт страховки – можно по облегчённому варианту. Марточка слишком на себя надеялась. Тренировка плюс опыт, вестибулярный аппарат в порядке, мы храбрые, высоты не боимся – весь набор налицо... Номера сама для себя придумывала и усложняла всё время. Артистка оригинального жанра – так это называлось. И гонорары повыше. Словом, при переполненном цирке, в позапрошлом году, на гастролях у вас в Кузбассе, где мы с тобой когда-то познакомились...

- Разбилась? И нельзя было спасти? Врачи у нас в клиниках хорошие. Мою маму спасают...

- Считается, в твоём Кузбассе врачи – лучшие в Союзе. Но тут удар был разом – и насовсем! Ушибы, не совместимые с жизнью...

- Так что мы с тобой остались без Марты... Я тебе сочувствую.

- И я тебе. Она тебя любила... Фильм про мистера Икса помнишь?

- Любимый мой артист – Георг Отс. И песня любимая: «Да, я шут, я циркач, так что же...»

- Ты видела нашу афишу: в репертуаре есть оперетта «Принцесса цирка». Одно и то же представление, названия разные. Там театральные эффекты, вроде имитации реальной опасности, но высота присутствует. После гибели Марты временно не показывали. Сейчас возобновили.

Лина решила поделиться с Эльзой своей заботой.

- По тому портрету, который ты нарисовала, Игорь кажется мне похожим на одного мальчика с первого курса, с которым я, кажется, задружила. Он чистый, непосредственный. Недавно дал мне тетрадку со стихами, написанными ещё в школе. Стихи отличные, но странные: крокодилы, танцующие вальс, манекены, желающие вынуть у поэта сердце... Он моложе меня на три года...

- У нас с Игорем разница в возрасте полтора года. Пока не сказывается, но женщина быстрее старится. Страшно подумать.

- А ты освободи голову от ненужного хлама. В жизни всякое бывает. Возраст не помеха любви.

- Вот и я себя убеждаю – не грусти, Эльза, старайся быть ему нужной, и не докучай упреками и укорами...

- Я в моём мальчишке чувствую затаённое страдание. А ведь такой юный, и на вид внешне выглядит счастливым. Хлебает жизнь полной мерой. Чувствуется, судьба его ещё не била. Но обязательно долбанёт когда-нибудь.

- Это уж как водится.

- Я по сравнению с ним взрослая, он – дитё... И товарищи у него странные – люди, не нашедшие себя. Не все, но есть такие. По-видимому, не очень хорошо, если вокруг одарённого человека такие друзья?

- Друзья приходят и уходят. Подруги или остаются, или рвут с кровью и болью. Второе – скорее норма, чем исключение. Или подруг бросают. В театральном мире драмы и разрывы сплошь и рядом. Попользуются, остынут и бросят... А жизнь такая короткая... У нас редкие семьи сохраняются нерушимыми до самой старости. В медицине, которой ты отдаёшь время и силы, по моему, всё же не так опасно.

- Не знаю. Пока такими материями не живу. В студенчестве выбор ни к чему не обязывает. Можно ждать. Главное, не бросаться, куда попало и как попало.

- На рельсы, скажем, как Анна Каренина.

- Вот именно. Цель – выучиться и встать на ноги.

- Это совсем другое. Мой выбор уже сделан. Быть женой выдающегося человека – каждодневное испытание. Игорь не стал зазнайкой, самокритично объявляет себя начинающим артистом. Несмотря на успех и благоволение начальства. Иногда мне кажется, что я не достойна его – я мало читала, мало ездила... словом, ты понимаешь... А тут поклонницы гужом ходят... Такие письма пишут, что закачаешься, бессонница со слезами обеспечена...

Ночь близится к концу. Гаснут окна, где они светились, – в гостинице, в общежитьях.

Расставаясь, подруги стараются выразить словами общее переживание только что пережитого опыта. В каждом из живущих при подобной встрече возникает неповторимое ощущение особой благодарности: именно этот человек избрал меня, оценил по достоинству, и я ответила тем же.

И обещают завести переписку.

Но каждая про себя уверена, что навряд ли сможет отдавать этому время.

«Звени, наша песня»

Всё. Настал предел человеческому терпению.

Что-то случится не самое доброе.

Придя после института домой, Лина обнаружила у себя на тумбочке книжку «Звени, наша песня», которую считала потерянной, и почти с этим смирилась. Песенник долго ходил по рукам, и неоднократно случалось пожалеть о его утрате: во время всяких массовок пособие было

необходимо при хоровом пении. И не только в самодеятельных концертах. А просто – собрались люди, хочется спеть вместе, а текст, к сожалению, знают не все.

И вот утраченное нашлось. И кто-то заботливо положил в заметное место. Но сердце предостерегало. Неспроста была находка. Книжка лежала не по-обычному, а как-то будто бы кверху ногами и наискось. Словно призывала: возьми меня скорей, раскрой, и тебя встретит сюрприз.

Так и есть.

- Ты не очень-то радуйся, - предостерегла Тася Лодыгина. - Посмотри самую последнюю страницу, там, где уже не напечатаны ни текст, ни ноты.

На самой последней, чистой страничке было написано синими чёткими чернилами, без мазни, с хорошим нажимом авторучки, стихотворение. И почерк до боли знакомый, так пишет в общезнании только один человек.

Недвусмысленно разборчивый, отвратительный, подлый почерк.

- Читаю вслух, - сказала Лина.

Ария из оперетты «Роз-Мари»

О, Роз-Мари, о, Мэри!

Открой, зараза, двери!

Твой взор зовёт и манит.

К тебе жених нагрянет.

Но лишь тебя увидит,

Откроет дверь и выйдет.

С тобой сыграет в прятки.

Умчится без оглядки.

- Интересно, сама сочинила или кто-то посодействовал?

- Я тоже спросила. Я уговаривала: не порть книжку! Надо тебе, запиши в тетрадке, в крайнем случае, на листочке. И не убегай, а дождись противницу, и сама её поставь в известность. Слышать не желает. Не для того, талдычит, я ночь не спала, сочиняла, чтоб хитрить и изворачиваться. Война так война.

- И где же она может сейчас прятаться? Напакостила и сбежала!

- У неё запасные аэродромы находятся, не сомневайся. У тех же политехников хотя бы. Геологи же на неё дышат, надыхаться не могут.

- И какого жениха она имеет в виду? Я же не она, мужчинам на шею вешаться. До окончания института ни о каком замужестве и помыслов нет.

- Она тебя возненавидела с того дня, когда стала заигрывать с Вадькой Полуяном, который ходил ко мне, а ты его прогнала потому, что он засиживался, когда нам, всей комнате, пора было отходить ко сну. Я приболела и не пошла его провожать. А она пошла. И похвалялась, что на улице с ним обнималась. Ты ей сразу устроила головомойку. Она и затаила злобу.

- А пусть не лезет, куда не звали.

- Ей обниматься с мужиком, да ещё с чужим ухажёром, как раз плюнуть. Она не скрывает, что в отместку за твоё поведение отобьёт у тебя твоего мальчика с первого курса. И для начала станет сочинять стихи, чтобы с ним делиться рифмами.

- Ей до Лёвки как пешком до Луны. А если он такой же, как твой Вадик Полуян, то туда и дорога. Плакать не стану.

- Тебе хорошо. Ты сильная. А я плакала.

- Тем более. Пасквильному спорту этой писаки нужно положить конец.

- Сначала найди её.

- Дай-ка ножницы.

Лина аккуратно выстригла нехорошую страничку так, что в книжке остался почти незаметный рубчик. Отдала ножницы. Порвала записку на две части, на четыре, на восемь, ещё раз, и снова. Истерзала, словом, в лапшу-вермишель.

Она откинула одеяло с кровати писаки, отбросила в сторону подушку, раскидала бумажки по кровати, вернула на место подушку и одеяло.

- Не сомневайся, Тася, это всего лишь начало.

Они ни разу не произнесли ни имя, ни фамилию той, чей поступок обсуждали так терпеливо и так долго.

Землянская эту ночь действительно провела вне стен общежития.

Витя Москвичёв, он же Шуцкин

Удивления достойно, откуда наш лучший друг, не разлей вода, Витя Москвичёв набирается всякой занимательной, незаумной всячины. Спрашивать нам с Иваном не интересно – на вопрос об этом Витя припомнит каких-то невнятных взрослых из своего детства в эвакуации, в чистом и ухоженном городке Юрга. Это нам об источнике ничего не скажет, потому с дальнейшими расспросами мы и не пристаём. Тем более, на разрядку в полемических бурях, анекдотец промелькнёт посреди *дебатов* веселящей молнией, а затем назад возвратит передошедшему обществу, скажем, остановленного и замолкшего было Кременя, и будет удалён в москвичёвский запасник до иного времени.

Лина к Москвичёву относится уважительно, зовёт Москвичишкой (Ваня Снегирёв тоже идёт под псевдонимом – он у Лины Снегурочкин), кое-что из Москвичёвских побасёнок запоминает и даже иногда цитирует. Или меня призывает к пересказу Витиных историй.

И определила так: а может быть, просто он сам всё сочиняет?..

- И пусть. Нам без разницы...

Как-то раз, обсуждая пьесу «Борис Годунов» в 43-й, Москвичёв спародировал фамилию Шуйского как «Шуцкин». И так это всем по душе пришлось, что Москвичёва начали называть Шуцкиным. Прозвание прижилось.

Кто-то просил его:

- Чего-то взгрустнулось. Ты, Шуцкин, рассказал бы анекдот, а?

А другому приспичило перевести *тысячи*¹³: завтра зачёт, а у него ещё конь не валялся.

Шуцкин поэтому и незаменим, и безотказен.

Очень плохо у Шуцкина получалось с занятиями по обязательному предмету физкультуры. Ходить на снарядную гимнастику в спортзал Виктор даже не пытался, и ни за что не давал себя уговорить ни мне, ни Ивану Снегирёву. Но хуже всего обстояло дело с зимними видами.

Лыжные занятия были для Шуцкина форменным истязанием. На уроки он умудрялся всегда опаздывать, и потому ему на базе уже не доставались ботинки нужных размеров. Полученные обутки он обвязывал серыми матерчатыми ремешками креплений, закреплял бечёвками. Это сопровождалось большими неудобствами.

Посреди пути, на открытом речном пространстве, под ветром, никогда не унимавшимся, бечёвки обычно развязывались, ремень соскакивал, и Витя красными непослушными руками, с жутким рычанием, зубовным скрежетом и самыми свирепыми ругательствами на разных наречиях, совершал попытки хоть как-нибудь исправить положение.

Рукавиц никогда не было. Девушки, жалеючи, иногда ссужали перчатки, но у самих по бедности мало что находилось... Однажды я видел, как Виктор держал лыжные палки руками, засунутыми в рваные носки.

Конечно же, и я, и Матвеич, и Иван отдавали ему на время свои рукавицы, но, во-первых, из-за нечаянной утраты их Шуцкиным могли не получить обратно, во-вторых, не всегда вместе с ним бывали на базе, дабы сдать просроченный, безнадёжно поздний зачёт – снег уже начинал оседать и

¹³ На кафедре иняза в ту пору предлагалась задача: перевести с русского языка статью из журнала «Новое время» с каким-то обозначенным количеством тысяч букв, без учёта пробелов, на выбранный язык – немецкий или английский. Сделали – идёте к преподавателю, сдаёте зачёт. Фикция своего рода. Принимают предельно терпеливо. Но на вопиющих неточностях поймать могут.

таять, но лёд ещё крепок, лыжня обозначена, и река предоставляла последние, не опасные для досдачи зачётов по лыжному спорту возможности.

Вот так обстояло дело с лыжами на первом курсе. Да и на втором курсе тоже. Потом официальная физра кончилась, в зачётках чудесным образом (у преподавательницы физры Марии Константиновны Радгерт невероятно доброе сердце – почти такое же, как у профессора Бородкина) появились вожаденные «посы», и зимние страсти были забыты, как кошмарные сны. Но на третьем...

На третьем курсе вдруг выяснилось, что не кто иной, как Виктор Москвичёв – один из ведущих спортсменов в только что основанной городской секции фехтовальщиков. Он не только смог воссоздать в городе спортивное фехтование, но и уже за первые полгода завоевал первенство области, а вместе с тем и право ратоборствовать на республиканских и даже союзных состязаниях в составе первой десятки спортсменов города и области.

Жизнь всегда даст место всяким неожиданностям. В частности, такая жизнь, как шуцкинская.

В расплавленной 43-й он, в непочиненной майке, расхаживал между кроватями и распевал итальянские арии. А также вворачивал сатирические штучки вроде такой:

*Канаре-ячка слышнее,
А гармошка вся-ялее.
Геть, моя, геть, моя
Канаре-ячка!*

Или вдруг, ни с того ни с сего, разгуливая без рубахи же в жарком межкроватьном пространстве, начинал штудировать латинско-русский словарь:

- *Хабент суа фата либэлли.*

Не любил, когда приставали с просьбами перевести на русский. Пытался отделаться отговоркой: *И книги имеют свою судьбу... Сказал то, что имел сказать...*

- А как пишется?

- Писать лень. Спросишь у своей Ксении. Или залезь в словарь.

Получив отпор, Лёвик брался за чайник, устанавливал, что там воды на доньшке, и отправлялся в кухню к вечно раскалённому титану за кипятком.

Шуцкин же продолжал твердить экзерсисы:

- *Хэма, статус, родительный... Хемптоэ, эс... Хэмптоэс, родительный падеж... Хэморрагиа... Хэмостатикус...*

Что в дословном переводе означало: кровохарканье... кровотечение... кровоостанавливающий...

Кремень слушал его, открыв рот, шевелил губами, запоминал. Кременя это *кровно* касалось.

Лёвик налаживался на выход. Не хотелось нарываться на повтор имени латинянки Ксении, с ней было пережито событие потрясное, но никогда не называемое... Шуцкин мог иметь в виду лишь один пустяковый *скетч*, разыгрываемый в институтском драмкружке. О *скетче*, как таковом, говорить можно, слово не отобрано. Однако время уплыло, ворошить прошлое вовсе не хочется.

Но с присущей ему уважительной тактичностью поражался Юра Пашутин:

- Странное дело: вроде поэт, сочинитель, а к языкам равнодушен. В нашем вузе совершенно бесподобная кафедра иностранных языков. Скажу тебе, где расположена. В Новой Анатомке. Не там ли на заветной лавочке отбили у тебя охоту заниматься латынью? А то скажешь одно, а о другом подумают.

Уточнять расположение кафедры и лавочки Лёвик не решился. Мало ли на что нарвёшься с таким товарищем, как Юра Пашутин, человек отменного миролюбия. Похоже, и он прошёл обучение на той изумительной лавочке и в том же обществе?.. И тех же духов нанюхался.

Или как?

Лёвик. Дерево

Никифоров как-то неопределённо обозначился в институте. Жил в общежитии на Твери, но умудрился в 43-й ни разу не появиться. На курсе – будто его и не было. Отметился, побывал в

колхозе – и как-то незаметно испарился, исчез с горизонта. Возможно, попал в отсев. На последипломных юбилейных встречах выпуска тоже ни разу не появился. Запомнился, таким образом, лишь одним эпизодом.

Я спросил:

- Сколько лет росло дерево?

- Вот срубим – узнаем, - загадочно ответил Никифоров.

Вчера примерялись с Матвеичем – вдвоём дерево едва обхватили.

Никифоров необхватную сосну рассматривает с большим вниманием. Думы его понятны: пилить двуручной пилой надо бы с кем-то опытным и сильным. Но тут решает бригадир – даст ему в поддержку маменькина сынка-второкурсника, корреспондента-писачу: ты, мол, станешь делать работу, а он будет у тебя на подхвате. Вроде «подай-принеси». Добрые ребята все в поле, а этот, городской, деревья валить не обучен, бери его подсобником.

Порылся Никифоров у бригадира в инструментах: отыскал топор, чтоб лезвие не болталось на топорнице, пилу, чтоб разведена была крепко, прочную верёвку, две пары верхонок, желательны ни разу не надёванных.

Никифоров стихов со сцены не читает, на зачётах эрудицией преподавателей не давит. На семинарах в основном отмалчивается. Зато сельскую работу знает: куда ни сунься – везде успеет. Бригадир оценил сразу, ему доверяет сложные поручения, как вот эта сосна.

- Ты деревья раньше-то валил? - поинтересовался бригадир.

- Валил, - хмуро ответил Никифоров. - Берёзы-то нету, что ли?

- Берёзу бы удобней, да, но нет ни одной нигде поблизости, - вздохнул бригадир.

- Коли так, сосну повалим.

- Ну, давай тогда. Вон того паренька возьми в помощь.

Бригадир большим пальцем через плечо показал на Лёвика.

- Ладно, - буркнул Никифоров. И отвернулся.

Бригадир ушёл обнадёженный: если дерево свалят, полколхоза будут с дровами на всю зиму.

У Никифорова на смуглом лице – одно бесстрашие, только при взгляде на физически незрелого напарника на небритой щеке прокатывается мелкий желвачок.

На сосну ходили смотреть все студенты. Дерево было высокое, с хвоей, не пропускавшей солнце, с ровным стволом, таким будто его сломали и снова собрали, но неудачно. Оно одиноко стояло на гребне, наклонно над обрывом, и бригадир с Никифоровым решили, что удобней его пилить так, чтобы повалить в овражек, потом обрубить все ветки до последнего сучка, распилить ствол на чурбачки, а дальше видно будет, что делать с полученным итогом.

- Не жалко вам? Вон какая красавица! Наверное, лет двести росла? - спросили девушки. Бригадир ответил:

- Жалей не жалей, а в деревне без дров насиделись, хватит. Тайги здесь нет, тайга за райцентром, туда в страду не доберёшься. Да и некому. Вас пригнали не для заготовки дров, а на другие нужды. Так что мы сосной обойдёмся. Довольно ей здесь красоваться, небо скрести. Пусть на людей поработает. На берёзы запрет вышел – валить. А эту дуру – вали сколь хошь, никто не спросит. Вот так.

- Пригнали, бригадир? Мы что тебе – лошади? - придралась Стефания Такменинова, староста группы.

- Ну прислали, - смутился бригадир. - Прислали вас. Ладно.

- Мы сами приехали.

Стефания должна поставить в разговоре последнюю точку. Она – староста группы. Проявляет себя.

- Как – сами? Взяли и приехали, сами? - бригадир тоже не уступал. - Вас пароход привёз.

Бригадир поправил гимнастёрку, загнал под армейский ремень все складки и так переправил со стороны на сторону заломанный картузик с пуговкой, что стало непонятно, каким чудом лихая шапчонка ещё держится на соломенном чубчике. Одним словом, гармошку в руки – и на вечерку!

Да сейчас – какие вечерки?..

Бригадир обращался как будто ко всем девушкам, а смотрел преимущественно на крепкую и во всём правильную рыжеволосую Стефанию. Семёнов, студент и одноклассник, ревниво огорчился: и этот впёрлся...

У Такмениновой чёрные, красиво подкрашенные брови, слегка раскосые глаза смотрят неотрывно, рост не лилипутский, густая рыжая чёлка спадает на высокий лоб. Бригадиру куда деваться?

Девчонки на бригадира не обижаются: слишком явно хочет понравиться, что для него небезопасно, потому как непременно будут подсмеиваться. И первой подаст сигнал к насмешкам та же Стефания. Уцепится за какую-то подробность, хотя бы за привычку ради молодцеватости поправлять гимнастёрку, – чем не объект для насмешек?..

С ней проще не заводить, держать ровные отношения.

- Что, Лёва, вздыхаешь?

- Сосну жалко.

- А себя?

- А что мне себя жалеть?

- Устанешь.

- Устану – не твоя забота.

- Ещё не хватало мне о тебе заботиться.

Но в институте, в нормальных условиях, иной раз выручает – на занятиях, когда ему позарез нужно время для выполнения редакционного задания, не покажет отсутствующим. Не с каждым преподавателем это проходит, но нужно слушаться старосту, тогда сойдёт. Одним словом, на неё можно положиться.

Переживаний хватит на весь день. Всегда так: вместо того, чтобы отшутиться, скажешь банальную грубость, то же получишь в ответ – и готово: она отошла и забыла, а ты мучайся.

Студенты, уходя с бригадиром, долго качались по пояс в цветущих травах, трещали кустарником. Лёвик засмотрелся вслед группе. Никифоров ему не нравился, высокомерен, держит в напряжении.

- Эй, ты! Начнём!

Их остаётся двое на свете. Вокруг нетронутая трава, внизу кустарники подле болотца. Птицы, хлопая крыльями, падают на рассыпанное зерно. В небе недвижно встали белые, небольшие облака. Краски чисты, линии отчётливы. Сизое тело пыли тускло отливает на солнце, катает робкого зайчика, прежде чем отпустить его на волю.

Неохота молчать с букой Никифоровым. Семёнов заговаривает всё о том же: дерево росло сотни лет и никому не мешало. Строились города – там, где люди присаживались передохнуть, двигаясь к востоку, на океанское побережье. Делали открытия Пастер и Циолковский, профессор Бородин не так давно рассказывал нам о Парацельсе. А сосна себе росла, и никто о ней ничего не знал.

- Теперь вот узнают, - прерывает его туманные рассуждения Никифоров. Он держит пилу за одну ручку, железо вибрирует. - Не надо сильно шуметь. А то получается, как громкоговоритель... на столбе.

Никифоров дважды обошёл вокруг ствола. Самое важное при валке дерева, понимает Семёнов, точно определить, куда оно будет падать. И Никифоров долго прикидывал, нащуривая глаза под низко надвинутым козырьком фуражки. Наконец, нанёс удар по стволу: здесь начинать! И другой раз ударил – у самого комля, почти параллельно земле. И снова – повыше, наискось. И пошёл рубить – прямо, наискось, прямо, наискось, прямо, наискось. А Семёнов стоял и смотрел. Затем решил попросить:

- Дай и я попробую.

Никифоров ничего не ответил, рубил.

- Дай попробую, - громче сказал Семёнов.

- Н-а! – Никифоров отдал топор.

У него после каждого удара от ствола отсекалась тонкая, загнутая пластинка, и либо отскакивала вовсе, либо держалась на кончике. У Семёнова не получалось, было даже незаметно, удалось ли повредить ствол.

- Силы мало, - констатировал Никифоров.

- Покажи, а? - не обидясь, попросил Семёнов.

Никифоров показал и объяснил словами, как нужно правильно наносить удары.

- На топор.

Семёнов снова рубил.

Никифоров отобрал топор.

- Так мы до вечера...

Натоптанная трава пахлапряно, влажно.

Несколько дней назад с пристани на полевой стан их вёл бригадир. Семёнов со старостой шли, приотстав. Такменинова предложила пройти леском, держа в виду своих, не насмешничала. Проходили вблизи деревьев, полянками, от шагов отлетали и рассыпались на мелкие зонтики белые шары поздних одуванчиков. Семёнов мучительно соображал, о чем бы заговорить, темы не возникали, рыжая молчала, он волновался.

Стефания вдруг запела, и подпевать было не нужно.

*Лес ты мой, лес,
Ты зелёный лес,
Нравшись мне,
Люблю тебя, лес...*

Меж тем наклонялась, вместе с листьями срывала красные грозди ягодок, дважды набирала букетики, передавала ему.

- Это костяничка, ты в лесу не жил, не знаешь. Вкусная ягода?

- Очень. Из твоих рук – вдвойне.

- Ты не подлизывайся.

- И не собираюсь.

Набрал и для неё кустиков с костяникой.

Так и дошли к месту.

Никифоров, проделав топором начальную работу, приподнял пилу за одну ручку.

- Пилить будем. Обрубили, чтобы пилу не зажимало.

Пила всё равно застревала, Никифоров просил:

- Держи пилу ровнее!

Семёнов старался держать ровнее. Никифоров требовал:

- Не дави!

Семёнов пытался не давить.

- Не дергай! - начинал сердиться Никифоров. - Не нажимай! Да что ты так неровно пилишь?!.

- Я стараюсь, Егор! - хриловато сказал Семёнов. У него ныли спина и ноги, болели руки, подташнивало. Сейчас попрошу отдохнуть, думал он, но не просил, а изо всех сил напрягся, дабы держать ровнее, не давить, не дёргать, не нажимать... вот попрошу... Он очень не любил Никифорова, но сейчас почему-то хотел, чтобы Никифоров успокоился и был доволен. Вдруг показалось, что Никифоров из одной семьи со Стефанией, вроде брата, оба знают, как жить, как, например, правильно пилить сосну, чтоб не до вечера, а хотя бы до обеда повалить её на склон оврага.

- Я, Гоша, стараюсь.

Никифоров странно посмотрел на него.

- Перейди на мою сторону, - сказал. - А то тебе солнце в глаза бьёт.

- Тебе будет хуже видно.

- Ничего. Я привычный. Отдохнём-ка малость.

Сели, смотрели перед собой: на зелёный овраг, далёкую гладь воды, на голубое небо с белыми, стоячими облаками. Слушали звенящего шмеля.

Никифоров поднялся. Семёнов рванулся за ним.

- Ты сиди.

В подпиленную часть ствола Никифоров с разных сторон обухом топора вколотил два стальных клина. Щель сделалась шире, для работы удобней.

- Как будто и у меня получается, - сказал Семёнов.

- Работать нужно, всё будет получаться.

Когда дерево, шурша соскользывающей кроной, с пугающим треском и скорготаньем, надломилось, осело и, поворачиваясь, убыстряя движение, стало падать, Никифоров предупредил:

- Отойдём-ка.

И жестом почти неуловимым, но хорошо рассчитанным, подтолкнул сосну в нужном направлении.

Посчитали кольца на пне. Вышло сто восемьдесят.

- Правильно говорили: почти двести лет, - заметил Семёнов.

- Пошли, поедим, - предложил Никифоров. - Возьми пилу. Я понесу топор и клинья.

Дерево, павшее, вконец истреблённое, горестно шумело под ветром вослед им.

Вечером, умывшись после работы, до ужина студенты пришли посмотреть на убитое дерево. На закате, в подступающих сумерках, оно казалось сизым и кое-где отливало серебром.

Матвейч сдержанно похвалил:

- Большое дело сделали.

Бригадир обрадовался:

- Теперь с дровами! - И посулился от души: - По три трудодня запишу.

Девушки считали круги долголетия сосны.

Семёнов ждал, какую шпильку отпустит староста.

И она сказала:

- Ты так ножку держишь на дереве, будто ты его свалил.

- А разве не я?

- Уверена, что работал Егор, а ты ему только мешал. Так ведь?

- Ты уверена, ты уверена...

Речистый Семёнов не находил слов, чтобы парировать обидные выпады Такмениновой.

- Что ты её слушаешь? - с присущей ему грубостью сказал Егор. - Пойдём отсюда.

Они уходили от дерева первыми, впереди оживлённой толпы.

Семёнов не чувствовал никакого раздражения от язвительных шуток рыжеволосой старосты.

Напротив, ощущал удовлетворённость от того, что почти на равных работал с опытным Никифоровым, что, как бы там ни было, дерево, спиленное ими и порубленное на дрова, будет приносить пользу, продолжит радовать людей.

Спал как убитый.

Глава девятая. Красива и уютна наша гавань

Любимец обжития

Уют в 43-й иногда наводит Коля Медянников. То стены побелит, то на стол зимой тополиную веточку поставит, веточка выпустит лист зелёный – вот и весна. На дворе февраль завьюживает, а 43-я в май переступает.

- Азы познал, а верхушки сами придут.

Этой самокритичной фразой Николай Медянников подытоживает в конспективном сжатии всю нашу учёбу, весь институтский курс.

Когда ремесленничал, обувь чинил, скажем, то напевал:

В нашу гавань заходили корабли.

Красива и уютна наша гавань...

Любили на Твери Николая. Парни за спокойный и уживчивый характер, за мудрое, своевременное слово, девушки – потому же, плюс за кудри и глаза зелёные.

Добрый человек был, многое умел, ни от чего не отказывался, но и лишнего на себя не брал. Знал ремёсла – шорное, столярное, печное и многие другие. А как он выбеливал 43-ю после *клопоизгнания!* Все приходили смотреть и учиться. Нашёл достаточное количество извёстки, в заначках у коменданта отыскал кисти, твёрдые и мягкие, и пушистые, известь тщательно размешивал в ведре, пока она не сделалась жидкой, как молоко, пустил синьки по белому. Наносил тонкие пласты, один на другой, тщательно разглаживал шпателем, трудился день, пока все отсутствовали....

Легендарная личность, в целом-то.

Известно было: приехали они на Дальний Восток, в посёлок Каганович всей семьёй, он идёт по улице, его люди спрашивают:

-Ты Медяников?

Он:

- Нет, я сын.

Так и прозван был: Сын, Сынок. На всю жизнь.

После пятого курса он переводился в Саратовский мединститут, на военный факультет. Получил аттестацию, офицерский китель, а после присвоения лейтенантского звания – с погонами в придачу брюки с кантом, фуражку с кокардой, ботинки и бельё – трусы и майку армейского образца, носки. Поучился, сильно выказал себя пьянством, услышал: вам у нас занимать место не стоит, езжайте-ка обратно к себе в Сибирь. Он, демобилизованным, и приехал. Ждал *телегу* вдогонку. Но, как предположили в 43-й, выиграл тем, что смотался сразу, не успел как следует намозолить глаза начальству, и определённые штучки сошли ему с рук, без компрометирующей характеристики с места прежней учёбы...

После военфака Коля год потерял – пришлось снова вернуться на пятый курс. Слава Богу, что не два года.

Шинель, фуражка, китель, брюки, ботинки и бельё, вплоть до носок – вот и всё имущество Николая Медяникова. Армия Страны Советов при расставании, спасибо, поступила великодушно, не мелочилась, не отобрала.

На офицерскую форму и человека в ней (погоны отстёгивались и бережно хранились в тумбочке) приходили смотреть. Радик Волковыцкий как-то покрыл лысоватую, не сильно поумневшую в связи с учёбой голову офицерской фуражкой, посмотрел на себя в зеркало, понравилось, попросил разрешения поносить форму на улице. Вошёл в роль. Остановил на тротуаре шедшего навстречу курсанта:

- Товарищ курсант, почему не приветствуете?

- Виноват, товарищ лейтенант.

- На первый раз прощаю. Идите.

- Слушаюсь, товарищ лейтенант.

Ребята, скинувшись, набрали Медяникову денег на штатское одеянье.

И Николай пододелся.

Но и форма ему не раз ещё сгодилась.

Хотя бы и без погон.

Две рыжухи – Стефания Такменинова и Зинаида Круглова, гостя на Твери, – повязав косынки, глядят в окно. Кушают сухую вишню. Морщат веснушчатые носы: кисло.

А на улице пасмурно. У тротуаров трава совсем-совсем зелёная. Густая, шёлковая – летняя. Её бил по голове дождь, целовал холодный иней. Отступали, приглядывались: не желтеет, не сохнет. Нет, совсем не желтеет, не сохнет. Вот так и под снег сойдёт, и пролежит зиму, высохнет, да не сникнет.

День хорош: тихо, задумчиво. Вот-вот белые мухи полетят, пора уже. Зина и Стефа приоткрыли окно, дышат свежим воздухом. В последний раз, скоро клеить на зиму.

Смотрят – идёт Коля. А вон они уже и белые мухи, вокруг него кружатся.

- Ау, Коля! - окликают его со второго этажа.

- Неси, Стефа, босоножки, - отвечает Коля. - Чинить буду. И ты, Зина, тоже неси. Раз пришла для этого... И валенцы пускай несут, у кого прохудились.

Валенцы – так у них в посёлке Каганович говорили про валенки.

Девушки давно собираются: зимой босоножки не менее востребованы, чем летом, – в клинику ходить.

Профессор Рокотухин Илларион Ильич предупреждает на лекции:

- В клинику нельзя ходить в этой ужасной валяной обуви. Как это называется?

Из аудитории подсказывают:

- Валенки!

- Да, да. Кажется, валенки.

Кремень в 43-й негодует:

- Он уже стал по небу ходить! Не знает, в чём люди зимой обуты.

Хотя чего обижаться-то: в 43-й и возле неё никто валенок не знает и знать не будет.

Девушки, собрав заказанную обувку, идут за ремонтом к Николаю Медянникову.

В 43-ю.

Гостеприимный Оптимус махом сметает с табуреток журналы, книги, тетради, ерунду всякую. Приглашает:

- Садись, Зина. Садись и ты, Стеша. Чай пить будете? У нас пряники *банан* есть и карамель *клубничная*.

- Спасибо, Вова. Только сейчас чай пили. И пряники ели *банан*, и карамель.

Коля уже натягивает стешину некукольную туфельку на свинцовую лапу, раскладывает на столе инструменты, гвоздики сапожные в коробочке, иглы, дратву. Зина нет-нет да поглядит на мастеровитого Колю по-особому, глубоким, благодарным взглядом.

А снег на дворе всё гуще и всё полней.

И так день за днём – снег.

Витя Шуцкин ходит с непокрытой головой. Вот он просовывается в дверь, и все видят вначале сугроб, а потом уже Витю, принесшего его на себе.

Любопытно смотреть, что делается в городе. Дети не грустят у окошек. Они действуют: лепят бабу. Наберут снегу в горстку, скатают в комок, положат наземь – и покатали! Добудут морковку – вот нос, два камешка – глазки, веточка – ротик. Баба готова.

В дальних переулках выезжают на выпавший снег удалыцы-собачники, обновляют сани по первопутку: гикают на лошадей, катятся стоя, шапки на затылке, полушубки распахнуты, пар изо рта, веселье на пороге зверства, собакам не позавидуешь: попадётся в лапы *этим*, пиши пропало.

А с крыши текут капли. По радио передали: температура около нуля. Казалось бы, теплынь, и снег ещё не раз растает, и ляжет новый. Как вдруг ни с того ни с сего шум, вой, свист... Белый шквал закрыл и дома, и деревья, и прохожего. Метель накоротке просквозила – и быстро устала, истаяла.

Коперник целый век трудился...

Лёвик поступил в институт, когда Медянников вторично проходил пятый курс. А в следующем году он, как субординатор, имел право вести самостоятельный врачебный приём в поликлинике. Больные почти сразу прознали, что Медянников ещё не врач, а по факту только студент, однако сочли отсутствие диплома простой формальностью и просились на приём к этому доктору, кудрявому, доброму и рассудительному.

По собственной инициативе Зинаида любовью его отнюдь не искушала, сама не навязывалась. В 43-й ему советовали: ты, Коля, не плошай, проявляй инициативу. А он всё больше по низам действовал.

В одном подвальчике в городе Коля навещал некую зазнобу по имени Шура. Как-то зашли с ним вроде бы в гости, а там – угрюмый тип, весь в наколках, у печки сидит. Шурка засуетилась, засобираала поесть и выпить. Николай – наотрез. Я-то знаю, как трудно ему было отказаться. А то бы могли ненароком схлопотать и ножиком в подреберье. Больше Николай туда не захаживал, уступил блатному, без боли и ревности.

Если Коля уходил из общаги на Твери в город *развеяться*, то за ним увязывался ассистировать в трудных и ответственных поисках приключений санфаковец Миша Васин, левая нога у которого была короче правой на пять или шесть сантиметров. В точном определении размера врождённого дефекта история допускает разночтения.

Миша носил особый, ортопедический ботинок на высокой подошве, но всё равно заметно прихрамывал, что не мешало ему довольно резво бегать или ходить ускоренным шагом на разные, необходимые по ситуации дистанции.

Поиски начинались и заканчивались, как правило, приключением в киоске из категории *голубых Дунаев*, расположенном на бойком месте у врат городского продуктового (*колхозного*) рынка, от нашей Твери не более, чем в километре. Об это заведение привычно и с наслаждением спотыкалось множество *развеивающегося* народа.

Перед входом в заведение красовалась фанерка, на которой красной краской был начертан призыв из трёх слов без восклицательного знака: «*Просьба возвращать стаканы*».

В помещении киоска, у стены за прилавком стояли три огромные бочки. Буфетчица разливала из них по кувшинам (а оттуда – в стаканы) *узбеквино* под названием «портвейн», «мускат» или «мадера». Выбор таким образом был, напитки празднично узнавались по цвету: портвейн был коричневым, мускат розоватый, мадера светло-оранжевая. Цены различались незначительно. За вечер можно было основательно попробовать и того, и другого, и третьего.

Очередь, если её не злить, выстаивалась благодушно и без особых ссор. По принципу: не тревожьтесь, всем достанется. Нахалов, беспардонно лезших вперёд, оттирали безмолвно и эффективно. Но и буфетчицы, учитывая обострённые потребности клиентов, работали оперативно, и время отнюдь не тянули. Благо, посетители насчёт сдачи и недолива в стаканы особенно не привередничали, а ежели кто и заедался, то обретал крепкий окорот от публики. Так что в другой раз не решался затевать свару.

Получив свои стаканы, посетители расходились, занимали места за четырьмя столиками, либо пили в стоячку у высоких настенных полок, а в хорошую погоду грудились со стаканами в руках на улице возле крылечка.

Сынок с ассистентом были здесь завсегдаями.

К сожалению, сеансы проходили не всегда гладко.

Сценарий обычно был таков. В начале события Коля мало чем выделялся среди пьющих. По мере того, как желудок заполнялся *узбеквином*, а лицо соответственно краснело, окружающие начинали Сынка раздражать. На этот случай ситуационно находились *приставучие* пьяницы. Нарывались на ссоры. Коля не давал спуска, и в определённый момент появлялось ещё одно действующее лицо драмы – милиционер в форме. И, конечно же, на работе совершенно трезвый. Задача у него была вычлениить зачинщиков и, вытащив из рядов, свести из *залы*, скинуть с крыльца, а в идеале – отбуксировать в отдел. Провинившимися, естественно, предпринимались действия противоположной направленности: по возможности ускользнуть и смыться, а переждав, как стихнет, явиться вновь...

Бежать от преследования приходилось окольными путями, чтобы не привести погоню на Тверь. И Николай, как мог, облегчал себе усилия. Прежде всего он сбрасывал шинель (снятые погоны покоятся в тумбочке), но это помогало не слишком. Тогда в снег летел китель (тоже без погон). Преследователь не отставал, и Николай освобождался от гимнастёрки, от майки, и, в конце

концов, умудрялся на бегу освободиться от брюк, а в завершение марафона прорывался за ворота Твери по-спортивному, в одних трусах. Летом не нужно было тратить дорогие секунды на пальто и майку. А больше в гардеробе у Медяникова никаких предметов и не было. Штатское снаряжение в напряжённое время экспедиций отдыхало где-то в закоулках *Твери* на вешалках, либо кем-то из товарищей использовалось по назначению...

Преследователю скоро надоедала бессмысленность происходящего, инцидент заканчивался благополучно для обеих сторон.

Надо ли говорить, что причиндалы Колиной одежды собирал ковылявший по его маршруту Миша Васин, и Сынок ущерба своему гардеробу не нёс? На их счастье милиционеры оказывались разные, Сынка, по-видимому, не запоминали, и на долгое преследование не рассчитывали. Хромой Миша Васин сильно пьяным не выглядел, потому интереса у милиции не вызывал. На Тверь за ними обоими не приходили ни разу.

В общежитии Сынок тотчас укладывался на койку и мгновенно засыпал. Следом с ворохом одежды тащился преданный Санчо Панса, не интересный для стражей порядка. Проснувшись, Николай одевался, как будто ничего не случилось, и деловито объявлял:

- Надо *че*¹⁴.

Кто-то, сочувствуя, разводил руками:

- Нету *че*, Сынок,

Сынок, сильно страдая, бродил по Твери, в поисках.

Насобирать на утреннюю чекушку – *че*, – пусть не с одного раза, но удавалось, потому что народ в общежитии всегда находился – хворающие, зубрившие для пересдачи после завалов, свободные и отсыпавшиеся, придя с дежурств и всяких вагонных разгрузок, репетировавшие в клубе музыканты-лабухи и просто отлынивающие от лекций и коллоквиумов лоботрясы.

С памятью у Николая было не очень, наутро после *узбеквина* возникали провалы. Тем не менее, долги он почему-то запоминал железно и расплачивался аккуратно. Так что в сборах на *че* осечки его, как правило, не постигали.

Как-то Миша Васин сказался больным, и вместо ассистента с Николаем пришлось идти мне. В 43-й одобрили: надо Сынка беречь, нехорошо, если с ним что-то случится, а никого из своих рядом не окажется.

- Ты не запоминаешь на самом деле? - спросил я по дороге. - Или придумываешь, что не помнишь?

- Не придумываю. Хотел бы, но не получается. Ты почему не веришь?

- Со мной никогда провалов не происходило. Ни в обмороки не падал, ни под наркозом не находился, чтоб сознание потерять.

- Гусь свинье не товарищ. Трезвый пьяному тоже. Как в песне:

*Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья.*

- Тебе, Лёвик, надо однажды попробовать напиться допьяна. Всё поймёшь и всё оценишь.

- Зачем? Я верю Копернику.

- Собственный опыт – лучшее доказательство.

...Места за столами в киоске были заняты. Мы с Николаем стоя пили нашу мадеру из гранёных стаканов. Мне сделалось весело, напала охота говорить, я кого-то учил, как жить, судя по тому, что не прерывали, высказывал взгляды солидные и зрелые, понятные для публики, не раздражающие их рассудки и не задевающие чувства... Чтобы перебить неприятный вкус во рту, купил пирожков. Ел с аппетитом, кормил Сынка и угощал ещё кого-то.

¹⁴ Чекушка. (Прим. автора)

Николай пил вино, как воду, и закусывать не хотел. Так что его пирожки тут же торопливо умял отиравшийся возле нас ханыга, небритый, плешивый и, видно, сильно оголодавший. Он невероятно спешил, опасаясь, должно быть, что могут раздумать и заберут пирожок обратно, глотал, почти не прожёвывая, а я про себя отметил, что пока способен запоминать все детали и отчётливо уясняю мотивы поведения пьянчуги: боится, что пирожок отнимут.

Допив стакан, я почувствовал, что ноги у меня отяжелели, лицо покалывает иголочками, а язык артикулирует не так отчётливо, как перед началом выпивки. Но все эти изменения, в общем, были приятны. Не слишком же отрадным было то, что, увлекаясь общением с незнакомыми людьми, я упустил из вида Николая и перестал подсчитывать количество выпитых им стаканов.

Однако прерывать вакханалию было не время. Я, полагая, что второй стакан меня прояснит (подобные сомнительные сведения в 43-й излагали некоторые знатоки), протолкался к прилавку и попросил долить мадеры. Смешивать напитки нельзя – опять же наставляли в общаге. Я и не смешивал, хотя искушение попробовать все три фракции испытал, но преодолел всё-таки.

Весь чепок, благодаря мне и Коле, рассуждал о медицине. Две молодые глотки, поднаторевшие в *дебатах* на Твери, заполнили речевой продукцией пропахшее кислотой пространство чепка. Доверчивые и пока миролюбивые пропойцы нам внимали, проникались уважением, звали хирургами, одёргивали тех, кто пытался перебить и вставить свою ремарку. Но мы и сами по себе умели вести диалог, снисходительно выслушивали тех, которые рассказывали про встречавшихся им врачей, хороших и, наоборот, плохих.

Кто-то уже договаривался с Николаем, что тот его вылечит, покажет профессору, починит раненое колено и выпишет подходящий рецепт. Николай с важностью разъяснял им истины о бренности человеческой жизни и о величии духа. А чтоб не заскучали, нахваливал меня, как будущее светило:

- Вот он выучится и всех вас вылечит.

Слушатели одобрительно смеялись, поддакивали: *этот* вылечит, молодой потому что.

Идиллия длилась недолго. Мы же не могли приступить к лечению прямо сейчас и здесь, как они хотели. Обстановка стала меняться, нас прекратили звать хирургами, кто-то болтал о шарлатанстве, а кто-то заявил, что мы и не врачи вовсе, а самые настоящие самозванцы. В слове *хирурги* поменяли вторую букву, вследствие чего оно приобрело непотребное, издевательское значение.

Много позже, путём не слишком сложных ассоциативных построений, я понял причину. Она заключалась в том, что мы в основном говорили сами и слишком долго не давали слова присутствующим, а в тамошнем обществе, по законам жанра, безусловно, должны были иметь преобладание тоже уже состоявшиеся отпетые говоруны.

Прозвучало ласковое, но с жёстким сигнальным подтекстом слово: *коновалы*.

Ага. Начинается.

Над непутёвой головой Николая уже поднималась агрессивная пивная кружка, а Коля, ответно скрипя зубами, сжимал в руке стакан, силясь раздавить его вдребезги.

И говорит:

- Бойтесь, что *кровя прольются*? Так ведь починим!..

Тут я понял, что продолжение эксперимента может вылиться в нежелательные и весьма болезненные последствия.

И потащил Николая на улицу.

Он упирался, требовал:

- Дай договорить!

Я, словно по наитию, каким-то дипломатическим способом его отвлек, переключил, вывел на волю. И обошлось без членовредительства и без милиции. Но просто увести приятеля из опасного чепка было всего полдела. Идти на Тверь прямой дорогой не получалось, Николай затаскивал меня в какие-то переулочки и тупички, я выслушивал оскорбления, утешался лишь тем, что он звал меня то Юркой, то Витькой, Володькой, то *коновалом*, а родное моё имя не упомянул ни разу.

Почти у самого общежития Коля коварно отскочил от меня и побежал, на ходу расстёгивая шинель. Поняв, чем это пахнет, я со всех ног припустился следом. Он проскочил через улицу, запнулся о собственные ноги и ткнулся носом в сугроб. И не встал.

Поза показалась ему неудобной, Сынок повернулся на спину и поёрзал, надёжно устраиваясь. Сугроб располагался перед чьими-то воротами, за калиткой цепной пёс надрывался лаем, брэнчал железом.

Николай барахтался в снегу и оказался в положении лёжа головой почти у входа в усадьбу. Он совал руки в щель под калиткой, страшными словами ругал собаку, грозил, что доберётся до неё и порвёт ей глотку. Крик и движение человека раззадоривали пса, лай и метания становились всё громче, отчётливей, мне уже мерещились откушенные кисти рук у моего Коли. Отличный материал для доцента кафедры судебной медицины Талалаева с его уникальными, ошеломительными примерами и экспонатами кафедрального музея.

Предельно напрягаясь, я оттащил Сынка от калитки и постарался поставить на ноги. Пёс бежал, громыхая цепью, не переставая лаять, и все собаки в округе лаяли и рвались с цепей. Никто из хозяев не появился.

Мои полтора стакана были забыты. Я ненавидел и сильно жалел Сынка и себя тоже, но мысль о том, что можно бросить его в беспомощном состоянии ни разу не пришла мне в голову. Ни одного прохожего, да и будь они здесь, навряд ли кто-нибудь взялся бы ассистировать мне в борьбе за спасение заблудившегося пьяного дебошира.

Сравнительно спокойно, налегая мне на плечо и сохраняя на себе одежду, Сынок добрался до общежития и, перевалив порог нашего корпуса, за меня почти уже не держался. В сорок третьей он свалился на коечку, не снимая шинель и ботинки. Освободить Сынка от излишних предметов одежды было уже не его заботой.

После того знаменитого циркового номера с цепной собакой Сынок проникся ко мне большим доверием. Теперь, приходя домой после своих эксцессов, он давал мне ремень и два полотенца:

- Свяжи мне руки. Как бы чего не вышло.

Реальная картина с профессиональным пониманием алкоголизма была у студентов-медиков едва ли не отпугивающей. С одной стороны, в курсе психиатрии этой теме уделялся всего один академический час лекционной программы, причём патология преподносилась в разделе наркоманий. С другой стороны, данное состояние в официальной пропаганде против пьянства зачислялось в общий разряд зловердных пережитков капиталистического прошлого, всё ещё не искоренённых в советском обществе.

Статистика смертности от *пережитка* нигде не публиковалась и, надо полагать, никем как подобает не подсчитывалась. До этого было ещё шагать и шагать....

Пьянство беспокоило общество и наблюдалось врачами лишь в виде самых крайних его проявлений – алкогольных психозов и преступного поведения...

Я говорю о медицинских представлениях тогдашнего периода, которые существовали практически с дореволюционных времён. Здесь отдельной строкой процесс изучался весьма условно: в разделе психозов алкоголизм шёл под общей рубрикой психозов интоксикационных.

Об остальном говорилось вскользь. Симптоматика нарастающих изменений психики и сомы (тела) при алкоголизме и в учебниках, естественно, нашими преподавателями преподносилась размытой, и на экзаменах о ней особо не спрашивали.

Естественно, в 43-й на сей счет не могли не *дебатировать*, но фундаментально, кроме безответственной трепотни, смакования комических происшествий и незаезженных весёленьких анекдотцев, всерьёз на медицинском языке говорить было не о чем. И на то, как сказано выше, существовали веские причины общемирового и прицельно советского звучаний.

Чеканная формула *наркоманической зависимости* и возникающего на её основе *большого алкогольного синдрома* в мировой теории медицины и, соответственно, в практике здравоохранения (включая советское) формировалась именно тогда, в середине двадцатого века. И до нашего общества, как руководство к действию, дошла с двадцатилетним опозданием.

Так мы и вышли в мир, вооружённые скорее эмпирическими наблюдениями над родными и близкими (и, кому случалось по обстоятельствам, над собой), нежели ставшие способными на профессиональный подход и эффективные действия специалистами.

Потом ситуация с милиционерами и медянниковской эксгибицией повторилась ещё раз один в один. Наутро тот же провал в памяти. Может ли Сынок врать, будто реально утрачивает память на события? На очередном *празднике большого говорения*, на сей раз посвящённом чудачествам Николая, обсуждались разные варианты.

- Так можно или нельзя допиться до такой степени, чтобы совершать нелепые поступки и потом их *амнезировать*?..

Причём допускались и добросовестное сокрытие способности помнить, и выгодное обманщику враньё. Те, кто уже сдали психиатрию, уверяли остальных в объективной несочинённости переживаний пьющего.

Но согласиться с таким посылом было далеко не просто.

Последняя весть

Получив диплом, Коля по направлению уехал в Якутию. Через год явился на Тверскую. Порт Осетрово не завлёк его. Всё же, пожив у нас пару недель, он вернулся в северную республику. Доходили слухи: занимает в отдалённом улусе заметное положение, чуть ли не председатель райисполкома.

Однажды на Твери меня разыскал некий человек в куртке, подбитой мехом, в красивой меховой шапке.

- Принимайте гостя. Я к вам от Медянникова Николая Александровича.

- Трудно было найти нас?

- Язык до Киева доведёт. И к вам тоже – люди объяснили, как пройти к общежитию. Имею поручение передать вот это письмо.

Он протянул мне серый, помятый, незапечатанный конверт. Кривыми, неровными буквами карандашом была написана моя фамилия. Я попросил:

- Хотел бы прочитать в вашем присутствии.

- Читайте.

- И, если что, через вас передать ответ.

- Не получится. Адресат выбыл.

- Как так – выбыл?

- Николай Александрович погиб.

- Что случилось?

- Он ехал по вызову к больному. Скорой помощи как таковой у нас ещё не открыли, район молодой, ездят врачи на экспедиционной машине. Опытного шофера у него на тот момент не оказалось, газик вёл сам. Знаете, на нашем бездорожье немудрено попасть в аварию. Вот он и перевернулся вместе с машиной. Умер не сразу. Пока у нас спохватились, он уже пролежал достаточно долго, потерял много крови, переохлаждение... Мы отправили его в республиканскую больницу, и там его не смогли спасти.

Я понял, что держу в руках последнюю весть от моего товарища.

Написно, опять же, карандашом, буквы неровные, многие пропущены.

Видно, что писал лёжа. Возможно, что не один день.

Дорогой мой друг, здравствуй! Пишу последнее письмо, меня лечат хорошо, но я не выживу, так как сильно изломан. Кроме тебя и ребят из нашего общежития, на земле у меня нет никого близких. Благодаря тебе я был знаком с Кругловой Зинаидой, только она с таким пентюхом, как я, могла водить хороводы. Но из-за моей причины (знаешь, какой) романа у меня с ней не получилось. В Якутии я был какое-то время главным врачом в участковой больнице, но ты же знаешь, какой из меня командир – нукудышный. Зато я здорово наловчился в хирургии, особенно в

травматологии. Поэтому когда мне предложили работу в госпитале геологического управления, я согласился. Работа интересная и очень важная, тебе бы понравилось: ищем золото.

Пить перестал, в тот день ехал трезвым.

Дорогой мой друг! Знаю, что сразу это письмо может и не дойти к тебе, но уверен также, что рано или поздно оно к тебе попадёт. Дорогой! Был один вечер, ты позвал меня в общежитие к девчонкам. Я уже тогда женихался с Зинаидой (громко сказано, но я любил её – впервые в жизни и по-настоящему любил женщину). Твоей Лины не случилось, ты огорчился, хотел тут же уйти, но я уговорил остаться, пока Зина соберётся, чтобы проводить нас. Она только что умылась, и в надключичной ямке дрожала капелька. Я умираю, и ничего, кроме этой капельки, на ум не приходит. Тебе это понятно... Она повернулась, капля сверкнула на свету и исчезла. Не думай, что я размениваюсь на мелочи. Ты сам всегда говоришь: в мелочах жизнь.

Дорогой мой! В эти годы я часто вспоминал, как мы дружили вчетвером – ты, я, Зинаида и твоя Лина. Не думай, что я прожил отшельником, женщины были, но тех часов нежности повторить не привелось... Мы жили неустроенно, как все, и почему-то всегда постоянно получалось так, что мы с ней не могли оставаться вдвоём. Мы ходили вчетвером, случались компании, меня это до поры устраивало: весело, ярко, ни к чему не обязывает. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Однажды я понял: это всё – или я с ней и она со мною, или... Она опередила. Я тянул с объяснением, вот мы как-то раз ходим, сидим на лавках, погода хорошая, а я, как студент на экзамене у строгого профессора, чувствую беспомощность...

А было воскресенье, и лодочная станция была открыта. Я взял напрокат лодку, Зину усадил на корму. Сам стал грести. На середине реки она попросила пересадить её с кормы на вёсла, она же спортивная девушка. Накатались, отдали лодку. Наступил вечер, луна, река под нами. Стоим на мостках у базы. Ну, думаю: вот сейчас всё и решится. И решилось. Она сказала напрямую:

- Коля, нам, наконец, надо расстаться. Я люблю другого человека. И не могу больше гулять с тобой.

- Я его знаю?

- Да, ты его знаешь. Это Каменский.

- Он отвечает тебе взаимностью?

- Ах, если бы так...

- Любовь без ответа?

- Но я не отступлю. И будет нечестно по отношению к вам обоим – гулять с тобой, а любить другого.

Наговорила мне комплиментов, расстались друзьями, но и то хорошо, что не разругались... Дорогой друг!!! Возможно, у них дело закончилось созданием семьи, возможно, будут и дети. Если не сейчас, то потом... Я уже никогда не узнаю. Но желаю им счастья в жизни.

Прощай...

Длинная черта скользнула с последней буквы...

Я поднял глаза на посланца. Он кивнул мне с пониманием.

- Николай пил? Сильно?

- Пьяным его никто не видел. Я его знал хорошо. В тех обстоятельствах каждый человек на виду, просвечен. Говорю это к тому, что Николай Александрович вообще не принимал. На наших мероприятиях пил только воду.

Я предложил гостю познакомиться хотя бы с упомянутыми в письме Каменским и Зинаидой. Семьи у них нет и не предвидится.

Гость отговорился занятостью, в нашем городе был в командировке, сжатой по времени, вот работа закончилась, дома ждут с отчётом, уже звонили из управления, торопят с возвращением, добираться далеко, сложно, остались считанные часы до отлёта.

Очень не хотелось отпускать вестника скорби. Вместе бы на Загорной помянуть Николая.

- В хорошей семье посидим. Там моим товарищам сочувствуют, хоть в очной форме, хоть заочно... Просто потому, что друзья – такая ценность...

- Утрачивать близких всегда тяжело...

- Как вы? Пойдёмте?

- В мыслях своих помянем, - отозвался он. - И в сердце. А я мой долг исполнил...
И оставил меня наедине с моей навсегда опечаленной памятью.

Загорная, времена тощие

Всё как всегда. Хорошее кончается по преимуществу разом. Плохое тянется нудно и долго, уходит не вдруг – пока душу не вымотает, кишки не вытянет. Исчезают и водочка, и картошечка, и хлеба не на что купить. Уголька совсем чуточка осталась. И у всех ресурсы иссякли. Марианна гостит у сестры в Москве, жалованье у Ираиды не скоро. Папкина пенсия, Юрины стипендия и зарплата тоже не маячат. Тимофей без работы. Как жить?..

Дед-папка сходил в одно место, на дрожзавод, к приятелю. Там хотят хозяйственным способом строить котельную. Папка собрался сколачивать бригаду шабашников: он сам да Тима с Юрочкой. Если занят и не сможет, пусть кого-то из студентов сосватает. Ну и взять из стариков кого-нибудь, кто сейчас не в больнице валяется, а бегаёт, как молоденький.

Но на дрожзаводе не оказалось материалов, да и с деньгами в этом году не густо. Дело, не возникнув, тут же и рассосалось.

Дрожзаводские подсказывали:

- Вертула! У него тоже котельная. И также хозспособом.

- Знаю, знаю. Там был уже.

У Вертулы дело вроде на мази, стенки ямы пока не обсыпались, стоят прочно.

А с деньгами та же волынка.

Куда ни кинь, всюду клин. Резина, одним словом.

И так вот сидели совсем без денег. Совсем-совсем. Ни крошечки. Ни капельки.

Кошельки перетрясли, за подкладку залезли: 2.12 на *сучок* наскреблось. На поллитровочку.

И это всё.

Вот Тимка и говорит:

- Ноты, эврика! Мы же забыли про наши до сих пор не реализованные запасы. И как мне кажется, у старухи тогда не всё выгребли.

Юра усомнился:

- Времени столько прошло. Думаешь, другие к ней не подкатывали? Буторин твой, например.

- Всё может быть. Одно утешает: Буторин подхватил дизентерию. Болезнь перешла в хроническую форму, скрутило его так, что врагу не пожелаешь. Буторин нам не помеха.

- Ладно. А кто их купит? У всех, кому надо, свои запасы девать некуда.

- Знаешь, бас Молотило – первый на очереди. Фамилию заменил, взял у жены, для благозвучия, ныне все его знают, как Засмольева. Папка не даст соврать. Он старожил, знает про Молотилу. Верно, папка?

- Вернее некуда, Тимочка: был Молотило, стал Засмольев.

- Какая, Тимка, разница?

- Да никакой нет разницы. Только что он бас. Бас! Певцы, даже в профессорском звании, люди запасливые, солидные. Любят заготовливать впрок, но не всё под руку подворачивается своевременно. Кажется, он нам приходится какой-то отдалённой родней. Так что шансы разжиться деньгами высокие. Пусть себя побалуёт, на Новый год заранее на подарок сгоношится.

- Не проще ли занять у него денег?

- Занимаешь чужие, на срок. Отдаёшь свои, навсегда... Слушай, я загораюсь! Айда к Молотиле!..

Стоило попытаться.

Кремень весьма понуро стоял в неосвещённом коридоре возле мышиноного чуланчика. Тимофей выбрасывал на его подставленные руки связку за связкой. Пыль, неприятный запах, покупатель побрезгует. Сказать? Вместо того вдруг вымолвил:

- Слушай, совсем забыл! Глок, между прочим, приглашал на симфонический концерт. Сегодня в семь. И Зинка говорила, что надо присутствовать. Скорее всего, и Молотило там будет. Обычно профессора на концерты с жёнами ходят. А вдруг жена у него жмотка?

- Она, может, и жмотка, но и голод не тётка. Извини за невольный каламбур... Хотя Молотило, возможно, там и не будет. Пойдём всё-таки к нему домой.

- Отбирай только то, что Молотиле вот сейчас понадобится.

- Именно так отбираю. На первую пробу достаточно, - не прерываясь в работе, говорил Тимофей. - А я, кстати, избегаю коллективных прослушиваний музыки. Предпочитаю наши домашние посиделки. Интимные, тёплые. Не сидишь неподвижно как истукан в зале среди публики, а в любую минуту можешь и сам включиться, покажешь импровизацию... Ты же присутствуешь, мы на Загорной ни от кого не прячемся.

Дом певца – большой, старый особняк на одну семью. Высокое крыльцо с витыми металлическими поручнями. Известный в городе район...

- Я, Юрка, не пойду к нему, - стыдливо произносит Тимофей. - Не могу. Хоть убей. Родня же, Юр...

- С каких это пор ты у нас сделался такой стыдливый? Что с тобой, Тимка? Молотило – такой же покупатель, как все те, кому ты впихиваешь свои товары. Разве нет?

Чуть щекотливое дело – Тимофей в кусты. На него нельзя рассчитывать.

А надо наоборот: чем дело сомнительней, тем скорее и энергичнее следует приступить к его выполнению.

- Вдвоём лучше, - говорит Юрий. - Хочешь, я пойду первым? А ты спрячешься за моей спиной, хочешь?

Два раза доходили до крыльца и отступали. Наконец Юрий нажал на звонок. Тимофей буквально отпрыгнул назад и спрятался в темноте. Пока Юру впустили и он находился у Молотилы, Тимофей, надвинув шапку на глаза и подняв воротник пальто, прогуливался за углом. Наконец Юрий с красным лицом соскочил со ступенек. Чуть ли не кубарем скатился. В руках у него уже ничего не было. Но разговор, видно, состоялся не из приятных.

Деньги же в руках не носят. А носят в карманах.

Юрка, пробегая мимо, буркнул:

- Айда, Тимка!

Но за ним же никто не гонится.

Денег выручили немного, но папке на хозяйство на какое-то время хватит, а там ещё чего-нибудь сочинится.

- Ночевать не останусь, - сказал Юрий. - Пойду в *обжитку*. Надо заглянуть в конспекты. Завтра зачёт.

Наврал, в общем-то. Зачёт – да, но не завтра, а послезавтра.

Володя Дынкин отправляется на концерт...

Неправда, что чудес на свете не бывает. Случаются, и ещё какие... Наглядная иллюстрация – то, что произошло однажды зимой с нашим приятелем Владимиром Дынкиным из 42-й комнаты на его пути из пригорода в город.

...Иван с Лёвиком, даром что сибиряки, но выросли не в бараках, а в благоустроенных домах с центральным отоплением, учились в школах, тоже оснащённых радиаторами, хотя приходилось иногда и на уроках сидеть, не снимая зимней одежды, но это если перемерзали трубы, что всё же не так часто случалось. Не успели закалиться, оттого морозы тяжело переносят. Да и нынешняя зимища выдалась редкой суровости. Мороз ломит суставы, обжигает бронхи, лоб и щёки требуется растирать варежкой, спирает дыхание, застит глаза слезами, и тут же слёзы затвердевают так, что сквозь склеенные веки ничего не видно.

- Градусов пятьдесят, наверное, - говорит Семёнов. И сейчас же торопится закрыть рот, ибо захватывается дыханье.

- Сто! - уточняет Иван, мелкими шажками подбегая за шибко спешащим приятелем.

Пока доберутся до института, греются в магазинах – в девятнадцатом, и в хлебном, что в кирпичной избе, – и во второй столовой, и в гастрономе. Наконец перебежали площадь, и оказались в институте.

Вот где тепло. В подвале на вешалке людно. Иван без стеснения красными руками растирает занемевшие колени, он ходит без тёплого белья, форсит. У Лёвика под брюками вигоневые штаны от лыжного костюма, всё не так морозно. Пытался добиться подобного внимания к его собственному организму от Ивана, без результата.

Растёрлись, покрюкали – и наверх, на занятия. До трёх часов забыли про зиму.

Взяли дурную привычку – с утра хлебнут кипяточку с парой кусков рафинада и с чёрствой коркой, и так начинается день. А в институте учат медицине, но не кормят. С такого питания полярником себя не почувствуешь. Зато после учебного дня мальчишки отводят душу в студенческой столовой. Официантки приносят им каждому по две порции: по два борща, по две котлетки с двойным пюре, двойные блины и по два стакана чая с сахаром. Словом, каждой твари по паре.

Денег при здешней дешевизне пока хватает. А станут кончаться, тут и морозы ослабнут.

Тяжело в животе, зато бежать домой после объедаловки совсем не сложно, будто и мороз смягчился.

Но мороз остался. Может быть, на один-два градуса днём стало теплее, а вполне возможно, напротив, и холоднее. В белом тумане протянешь руку – её не видно. Здесь, в пяти километрах от вокзала, в разрежённом воздухе, отчетливо слышны гудки паровозов. И колёсные перестуки слышатся. Чудится, будто голоса невидимых в тумане прохожих тоже доносятся с вокзала. Снег скрипит, как новые ботинки. На белых стволах заиндевелых деревьев голубоватыми макаронами натканы несущие снег ветки...

Дома, в общежитии, по коридорам в печах трещат пламена, пахнет сжигаемым углем, ближе к печи на кухне – ячменным кофе, а также подогретой томатной пастой в смеси с жареным луком (популярная заправка к лапше или картошке). В комнате пока не сильно нагрето. Но Оптимус закрыл окно, домовитый Волобуев подбрасывает уголёк в печку, ворчит на техничек: ленятся печи топить.

- Дынкин не приходил? - первым делом спрашивает Семёнов. - На занятиях его не было. Случилось, что ли, чего-то?

- Теперь уж не выберется, - рассуждает Волобуев. - Станет пережидать мороз. Прогноз не слышали?

- Где бы мы его слышали? В институте радио нет.

- Дынкин молодец, если догадался у себя за речкой нос из дома не показывать, - хвалит Семёнов. - А то ведь потащится в город – и где-нибудь по дороге замёрзнет и останется.

- А что ты думаешь? Таки потащится! - говорит Иван, укладываясь на койку с учебником.

Если бы Дынкин их услышал, а услышав, последовал бы совету!

Так нет же.

Холодно в городе, но девчонкам из общежития, того, что на Розочке, мороз – не мороз. По этажам и лестнице белкой носится Клара Землянская, известная красotka. Врывается в комнаты:

- Девочки, дайте плойку!

Плойки ни у кого нет. Что делать? Не идти же не завитой на концерт! Клара берёт со стола ручку, деревянную с жестяным набалдашничком для вставки пера, и устремляется на кухню, к плите. Там, разогрев набалдашничек, наматывает на него прядь волос. В комнате начинает опасно пахнуть жжёным волосом.

Кларе сострадательно предлагают:

- Вот, возьми нож. Рукоятка у него круглая, что тебе плойка...

Это, конечно, удобнее.

В полседьмого за Кларой заходят парни – трое. Тёмно-синие шинели с погончиками, под ними кители с такими же погончиками – студенты-горняки из политехнического. Раным-рано. Чинно раздеваются, степенно садятся у стола. Серьёзно, насупленно молчат. Могут ждать сколько угодно. Они её доведут до самого концертного зала, но там их ждёт не совсем приятная неожиданность. Ну и что? Женская красота – дорогая штука ...

- Сейчас, мальчики, - как бы успокаивает бегающая взад-вперёд Клара.

У каждого своя манера собираться. Клара двери в комнатах разобьёт – то дайте, это дайте! Всё надо, всё в последний момент – ах, девочки, времени совсем не осталось!.. Элла Орлова усмежается: мне бы твои заботы. Платья день ото дня становятся теснее: у неё под сердцем кто-то поселился, поэтому на лице пятна и по утрам будто без причины тошнит.

Орлова долго и многократно пудрится:

- Мальчишки, отвернитесь!

В комнате о ней заботятся. Зинаида Круглова, безнадёжно влюблённая в Каменского, с тревогой спрашивает:

- Быть может, не пойдёшь? По трансляции услышишь.

- Ты бы не пошла?

Убедительно. Зинаида пошла бы в любом случае. Она тоже надевает праздничное платье. Завиваться ей ни к чему: во-первых, и так узнают, а во-вторых, и от своих натуральных рыжих кудрей деваться некуда, ни под одну шапку не лезут. Всё же ей немного обидно: все кого-то ждут, ко всем приходят ребята – вместе слушать концерт. Только её непутёвый Юрка пообещал зайти за ней, но всё не появляется. Чего было договариваться? Но она Юрку прощает. И чем только он занят? Неужели опять со своим забудыжным Тимофеем шарится по тёмным закоулкам? За ними не заржавеет – даже в мороз...

- И что ты в нём нашла? - спрашивает Землянская. - Хоть бы красивый был, а то нос длиннее топорища, уши торчком. Шумный, беспутный.

- Ты ничего не понимаешь в людях, - отвечает Круглова. - Он умный. И медицину любит без памяти. Как дорвётся до клиник, всё забывает.

- Фанатик, - фыркает Землянская. - Мне такие неприятны. С ними говорить не о чем.

Это несправедливо, ибо как раз из-за разговоров с ним всё отдашь – и мало... Но возражать не хочется. Потому что уже восьмой час на дворе, а Юрки нет. И нам пора. Только в половине восьмого, в крайнее время, все собраны, приодеты, бегут по морозу, в гулкие мостовые стучат кто сапожками, кто валенками, хохочут и духами веют.

Зинаида крепко под локоть поддерживает Эллу Орлову.

Словно весна просквозила. И скрылась в концертном зале. И вновь зима.

И – вверх, по широкой лестнице с красивыми узорными перилами, по мягкому ковру, в старинный зал с высокими и узкими, закруглёнными по верху окнами, с потолком и стенами, покрытыми неброской, радующей глаз лепкой. И с люстрой бесценного хрустала, таких светильников во всём мире по пальцам считать. Наряду с университетом, старыми особняками, купеческим рынком люстра из концертного зала зачислена в достопримечательности города. Уцелела от разграбления в тридцатые годы, когда Москва, как говорят, позарилась было забрать её себе, переместить, поставить в театр, куда иногда заглядывает самое высокое руководство... Да разразилась война, не до люстры стало. В Сибирь, а не из неё государство везло ценности, дабы припрятать...

Наверху, в зале одна светловолосая девушка не спешит усаживаться, стоит, смотрит вокруг, лицо грустное. Но случилось то, что и должно случиться: Вологдин Дмитрий Алексеевич так и не смог подмениться у себя на скорой.

И другая, в спортивной, олимпийского покроя куртке, рыжая, не надо и краситься, тоже оглядывает ряды – нет ли кого знакомого? Сама себе не признается: один ей желателен знакомый – Юрий Каменский. И этому, видать, не до концертов.

В пятый ряд, строго по билетам, неспешно проходят трое: миниатюрная, на непомерно высоких каблуках Клара Землянская, её неизменный спутник для подобных мероприятий, двухметровый красавец в отглаженном воинском кителе (без погон) и офицерских брюках навыпуск, выпускник позапрошлого года, ныне ассистент на кафедре судебной медицины у пожилого доцента Талалаева, аспирант Владислав Слободяник. А перед ними и – высокий, почти, как и Михаил, но сильно сутулый, пышноусый старик в старомодном чёрном костюме, опирается на трость. Сам Игорь Лаврович Талалаев. О нём знают, что меломан, в далёкой молодости будто бы даже сочинил пользовавшийся популярностью романс. По некоторым причинам государственного свойства эта биографическая подробность не выдвигается на первый план, но, кому любопытно, по молве передаётся.

У кресел небольшая заминка. Старик пытается галантно пропустить впереди себя даму (Клару), она же, наоборот, пропускает сначала Игоря Лавровича. Владислав же медвежешаво топчется – даёт пройти им обоим. Наконец, и эти усаживаются, причём Клара, как и хотела, располагается между двумя спутниками. Она не оглядывается, ей не важно, куда запропастились трое парней-политехников, собиравшиеся чуть ли не поменять с кем-нибудь из зрителей билеты, чтобы сидеть рядом с Klarой. Она их не звала. Хотят – приходят, не хотят – не приходят, знаете ли... Хозяин – барин. А за их испорченное настроение она не отвечает.

Шуршат платья, разговоры постепенно стихают. Миг молчания. Перед закрытым занавесом появляется конферансье. Густо-баритональным, специально поставленным голосом он произносит буквально несколько слов – не острит, не пускает в ход заученные репризы. От него ждут другого. И он объявляет выступление заслуженного артиста, лауреата... И ускользает. И раздвигается занавес, показывая сцену, где за пюпитрами сидят оркестранты, раскланивается с залом дирижёр, а из-за рояля, ради того, чтобы также совершить исполненный достоинства поклон, поднимается прославленный пианист Ростислав Полуэктов.

За рекой, в квартире Дынкиных, Владимир намеревается перебороть ненастье. Не любит, когда в его планы мороз вмешивается, подлый. Погоды нет? Долой погоду-непогоду, кто бы её ни придумал!..

Мать отговаривала:

- Володька, подумай! Дров наломаешь. Только вчера был приступ. И что тебе этот концерт? По радио услышишь – и целый останешься.

Сидела на кровати и всё упрашивала. А он гладил брюки. Она предлагала: дай мне. Но он ни в какую: у самого руки не отсохли. В голове у него складывалась любимая мелодия. Володька уже не здесь.

- Ничего со мной не случится до самой смерти, - невнятно бормочет он, не желая перебить мелодию.

Мать не унимается.

- Подумай, ты же всё-таки не такой, как все. Ты калека. О господи, горе моё. Помрёшь ведь...

Так ныла, пока не пришёл отчим.

Отчим покрепче их обоих. Ему семьдесят первый год. Он ежедневно бреется, вообще по-солдатски следит за собой. Чистит обувь, складки военной гимнастёрки забирает сзади под ремень. Будто он и сейчас ещё старшина-сверхсрочник в охранных войсках. Морщин мало. И волосы – все (ни одного седого), и все зубы.

И говорит матери:

- Что ты пристала к человеку, Надежда? Человек сказал: надо идти. Стало быть, надо. Человек сам знает, что делает.

Стоял, дёргая коленкой, пальцы под ремнём, и затаенным взглядом рассматривал мать, будто она за стеклом в музее. Мать же, сложив руки в коленях, поводя красным и мягким от задущенных слёз носом, сидела тихо, но изредка, глянув на Володьку, вздыхала.

Володька, доглаживая брюки, ощутил появление незначительной одышки.

Оделся, причесался. Надел ботинки, натянул боты. Мать снова:

- Даже пимов нет. А на реке страсть вон какая – мороз, ветер...

Отчим её утихомиривал:

- Человек разве не знает, как ему ходить? Ты, Надежда, разговаривай, да не заговаривайся. А то человек не так поймёт.

- Человек правильно понимает, - сказал Володька. - До свиданья.

В атмосфере борьбы родительских характеров прошёл от стола к двери, нагнулся у притолоки – всё же ростом Бог не обидел. Выбрался в мир – в холод, неприятность, угадываемые в тумане ранние зимние звёзды. Вначале шагало себе, дала о себе знать просто лёгкая, не страшная одышка. Одышечка, одышонок – постоянный при любом усилии спутник, привычный и неотступный.

На часы он глянул ещё дома – на ходики. Оставалось побольше часа, достаточно, чтобы обычным шагом дойти до города, очутиться в зале и там расположиться. Времени хватает. Хочется поскорей оказаться на месте.

Он почти бессознательно ускорил движение. Сейчас же не хватило воздуха. Всё как назло: морозная атмосфера – сильно разрежённая. Постоял, чтобы отдышаться. Тепло, из дома вынесенное, кончилось. А рановато: он только успел пройти мимо санатория и хвойного леса, и вот он – спуск на реку. По сути дела, дорога лишь начиналась. Темнело, долгая ночь вплотную приблизилась.

И он устремился дальше, по узенькой тропе спустился на реку, напрямик туда, где – он не видел за туманом, но хорошо знал – тёплые огни города. Теперь он продвигался расчётливо и по возможности неспешно. Очень стыли ноги, нос, горло, да и тело тоже.

На реке была пустота, ни одной живой души. Возможно, подумал он, скоро одна душа появится. Правда не живая, а мёртвая. Сердце колотилось, словно рожь на ветру. Точно колосок подрезанный. Его не однажды подрезали – и без надежд на исцеление. «Папаша» постарался. Пришёл из тюрьмы в диком ожесточении, много, свирепо пьянствовал. Разбрасывал и рвал Володькины книги. Пьяный, бил мать, разорялся:

- Нечего ему учиться. Не дам! У меня три класса образования – и ничего, столовой заведую. Судили за растрату, а как отбыл своё, опять позвали: иди, заведуй! И заведую! Не то, что всякие умники учёные. У меня все сытые. А этот поучится – дык станет отца учить, куда наступить, где притулиться. Не пуцу!

Володьке было двенадцать. Очень и очень хотел учиться. Книги доставал и зачитывался ими до предела. Не было сил понять волчью ненависть отчима к чужому знанию. Ночью от его истерик сбежал из дома. Приютила родственница, такая же бедная, как родители. Всю зиму бегал в школу, за пять километров, в дырявых ботиночках, стареньком пиджачке без ваты, в худой шапчонке и старой, хилой телогрейке. Хворал туберкулёзом, перенёс септический эндокардит. Валялся в больницах, пропускал учение, оттого вдвойне и втройне страдал.

В отроческих грёзах часто видел себя в белом халате, присаживающимся на уголок больничной койки, прикладываящим к чьим-то измождённым, кашляющим грудным клеткам чёрную костяную трубочку – стетоскоп. Наверное, мечта помогла выжить. Навещали родители – мать плакала, а отчим, будто ничего и не было, поругивал за строптивость, звал после выписки – непременно только домой.

Так зарабатываются сердечные пороки. И не проходят.

Послушался, пришёл домой. Отчим чудесным образом перестал пить, появились деньги, с невежеством слишком не приставал. Стал Володька учиться в мединституте – «папаша» добавлял понемногу к стипендии. Володька в общезнании дружил с хорошими людьми, по большей части вместе питались.

Судьба свела со Светланой Мельниковой в одной группе. Ни одна душа не знает, а для него увидеть её – и себя не жалко, мороз не мороз, на концерте она обязательно будет. Володьку иной раз порывает объяснить, но расстояние между ними такое, что определяется фразой «До Бога высоко, до царя далеко»... Да и сердечный злой порок у него, и абсолютное здоровье у неё, выросшей в семье академика, – разница во всём. И это ли не преграды для его любви...

Любовь, как же иначе! Хочется шептать, никто ведь не слышит, а губы молчат, не подчиняются. И нос, и глотку надо беречь...

Сейчас, на реке, уже не только одышка и загрудинная боль валили с ног. Подступил резкий кашель, лёгкие словно ножом резало. Нарастал страх, тело вопило: хочу жить, зачем вытаскивал из тепла наружу, погубишь, замёрзну, заметёт сугробом, и до весны никто не съест. Кашель вызывал страх, а страх усиливал кашель. На медицинском языке: заколдованный круг - *circulus viciosus*.

Во рту вдруг стало горячо и полно. Давно не было... Разжал зубы и плюнул, но рот оставался полным. Сунул пальцы, поднёс к глазам – чернее темноты кровь. Яснее ясного... Вроде бы кровь остановилась. И так бывает: кровохарканье останавливается само, *спонтанно*... Да и смерть возможна – внезапная смерть, *спонтанная*, а как же тогда Света?... Ужас усилился.

Он продолжал переставлять ноги, сжимал и разжимал в варежках заледеневшие пальцы, стучал ботами, дабы разогреть стопы. Вот так боролся с несчастным своим прошлым и горестным настоящим. И передвигался к будущему – в одном ему известном направлении: к городу, к институту, к общаге, к пианисту по имени Ростислав Полуэктов. К Светлане.

И вознеслась из мгlistой темени первая над обрывом стена города. Набережная!.. Ещё несколько шагов – и спасение. Люди... люди, люди, где вы, не дайте погибнуть!..

Горло выдавало своё. Сколько можно терять крови и оставаться в движении – это надо проверить у профессоров. Они научат спасать людей, добраться бы только до четвёртого курса.

И всё. Пока что он дотащился, дополз, можно сказать, только до первых ворот попутного городского дома.

Крыльцо.

А вдруг в доме такой же бесчувственный хозяин, как его отчим? На стук не откроет: чего среди ночи шарашиться? Больной ежели – так и ступай в больницу.

Дверь в дом не закрыта. Пахло щами, теплом, жизнью. Сел на пол. Его замутило. Сумел вытаскивать платок, снять шарф, и выплюнул туда кровь. Пол не запачкал.

Люди перестали двигаться.

Стало темно в глазах. Последний раз подумал про Свету. Руки и ноги не слушаются, наверное, обморожены – ампутация, и как же без рук, без ног учиться?..

Тамошний мальчик побежал к телефону.

Мечтательно выходят из освещённого уникальной старинной люстрой зала и спускаются к вешалке потрясённые любители музыки. Суетливые работники филармонии снуют по лестнице, по залу и за кулисами. Им предстоит усаживать в автобус оркестрантов, и в такси – знаменитого маэстро и его совсем юную аккомпаниаторшу, очаровательную – и потому капризную.

У стойки в гардеробе не остывшие от пережитого волнения девушки натягивают на маленькие ножки полудетские валенки, а туфли и босоножки заворачивают в газеты и упрятывают в балетки¹⁵ и сумки – у кого что имеется.

Поздним вечером, в начале двенадцатого на городской станции скорой помощи выдались незанятые полчаса.

Старший врач смены, клинический ординатор Дмитрий Алексеевич Вологдин, всегда готовый немедленно приступить к работе, – аккуратная, уже тронутая сединой эспаньолка, красивая, так же лёгкой белизной отмеченная стрижка, энергичные, быстрые жесты, элегантное пальто, накинутое поверх халата, – сидел с докторами за столом. Сетовал на то, что пропускает концерт Ростислава, с которым знаком лично, и даже однажды имел честь – давно, в начале карьеры Полуэктова – аккомпанировать ему взамен заболевшего штатного пианиста, играли в четыре руки... Очень требовательный пианист.

Но ничего, живы будем, так успеем попасть на его другие концерты.

Вологдин пел песенки, поневоле отрывочно, не целиком, а то пригласят на вызов, не успеешь закончить, перемывал косточки кое-кому из профессоров, припоминал забавную всячинку. Общий любимец веселил коллег в ожидании вызовов. Рассказывал:

¹⁵ Так называли небольшие чемоданчики с закруглёнными краями. (Прим. автора)

- Наша кошка до недавнего времени считалась котом. И вдруг выясняется, что Василий готовится стать мамой. Представляете? Дома переполох. Наша хозяйка Евгения Константиновна готовит приданое... Главное – посреди зимы женишка подцепила.

Резко, долго – по-ночному – звонит телефон.

- Скорая помощь, дежурная диспетчер Кульченко. Говорите адрес. Фамилия больного? Возраст? Ваша фамилия? Что случилось? Хорошо, встречайте возле дома. Доктор Вологдин, ваша очередь. Набережная, 8. Горловое кровотечение, *больной* 24 лет, студент, в настоящий момент без сознания.

Две категории горожан знают город лучше всех остальных его жителей: таксисты и работники скорой помощи. Постоянная езда, забираешься в самые отдалённые закоулки, постепенно узнаёшь каждую яму, любой пригорок и все выбоины на свете. Собственную квартиру так не изучишь. Вологдина спроси о чём-то, тут же припомнит связанное с этим событие. Скверы у реки – там бывал без счёта, часто пьяных подбираем. Либо ребёнок упадёт и сильно ушибётся, либо эпилептик потеряет сознание, забьётся в судорогах, язык, язык ему прижмите, да палец не толкайте, откусит... либо инсульт. Деревянные лестницы с подъёмами на всхолмлённую поверхность, мостики на цепочках, не провалиться бы. Дома со старинным кружевом наличников, во дворе собаки, без провожатого лучше не соваться. Но если серьёзный вызов, а провожатый, несмотря на собачий лай и громохание цепи, не выходит – пройти придётся. Старинные коренастые особняки – низ каменный, верх деревянный, ждут не дождутся ремонта. Смотрите, доктор, ступенька подломится, кто-то из коллег сломал ногу. На Набережной несколько особняков от подмытого рекой берега сползают в воду, сильно покосились. Тоже не мешает, проходя внутрь, побережь ноги и голову.

Ага, так и есть. Над оползнем полуосевший дом, замёрзший мальчик у ворот переминается с ноги на ногу. Темно, морозно. Фонарик, как у взрослого, валенки. Хорошо снарядили парнишку.

Женщина подбивала подушки, глядя на заострившийся нос, пергаментные веки и бурые пятна на подбородке больного. Покачивала головой, негромко вздыхала.

Доктор, энергичный, внёсший в жильё запах свежести (мороз вперемешку с шипром, сигаретным ароматным дымком и бензином, всё вместе взятое, плюс сосредоточенное движение), накинутое на халат пальто скинул на руки мальчику. Прошёл к больному. Узнал его – Дынкин. Знакомы не были, но приходилось встречаться на концертах, на институтских конференциях. И прежде бросалась в глаза нездоровая худоба и резкая бледность этого студента.

И Дынкин, видимо, тоже опознал знакомого. Разлепил веки, пробовал улыбнуться, тускло произнёс что-то вроде «Здрасьте» и снова закрыл глаза.

Санитарка поставила на стул и открыла деревянную коробку с инструментами и лекарствами для оказания неотложной помощи. Вологдин подул на руки, чтобы согреть их, ваткой со спиртом протёр ладони. Шприц помещался в металлическом футляре со спиртом. Врач быстро отвинтил крышку. Положил на лоток. Разбил ампулу, набрал лекарство, проверил. Автоматика!.. Раскрывшиеся на звон стекла глаза больного засветились ожиданьем. Дынкин, перемогаясь, готовил руку. Женщина бросилась помогать. Отрывала пуговицу с манжета, тянула рукав праздничной рубашки кверху. Рукав синий, рука истощённая, кожа дрябловатая, бледная. Вены выпуклые, жёсткие – по-видимому, ранний склероз...

Уложив больного на носилки в машине, выслушав хозяйку («И что это за болезни привязываются? Такой молодой – и уже больное сердце!..») и сказав шоферу «Сегодня принимают факультетские клиники. Пожалуйста, туда», врач поудобнее расположился в кабине, почувствовал лёгкий толчок берущего разбег автомобиля.

И вдруг произошло что-то непредвиденное: больно сжалось его собственное сердце и будто острая игла медленно прошла через него насквозь. Проколола и тотчас отпустила. И ни тебе одышки, ни новой боли.

Доктор установил дыхание, поморщился: надо бросить курить.

На Твери засыпали, по обыкновению, поздно. Юрка Каменский за целый день не вспомнивший о бедной Зине Кругловой и о ненужном ему концерте, самозабвенно держал всех в напряжении подробностями из жизни институтских клиник. Лёвик уступил ему свою койку, лёг на ту, что без ордера, а потому без матраса. На неё настелили, чего попало из верхней одежды (*пóльты*). Кременю, завязанному дежуранту в инфекционном отделении, выспаться нужнее, чем, например, мне, недежуранту. Так пусть спит на матрасе и с простынёй... Угомонились, в конце концов, и тут вдруг всех переполюшил резкий стук в дверь и звонкий голос:

- Проснитесь!

Проснулись. Федя Волобуев заворчал:

- Пожар что ли? Кто там ещё?

- Дежурная. Ваш Дынкин попал в больницу. Звонили со скорой, сказали, он в факультетской, у Селиванова. Состояние очень тяжёлое.

Георгия Матвеевича и Ивана уже разбудили. Они подтянулись в сорок третью. Иван позёвывал.

Оптимус заметил:

- Уверяю вас, до утра ему окажут всю необходимую терапевтическую помощь. Обойдутся без вашего вмешательства.

- Персонал, включая дежурных врачей, нервируют недоучки, которые воображают себя знатоками и тычутся в лечебный процесс, - философически произнёс Волковысский.

А Кремень:

- Вы молодцы, что идёте. Мало ли что... Наверняка одна затурканная санитарка на десятки коек, разрывается на части. Больных подвозят и подвозят. Судно, бывает, подать некому. А он лежащий больной...

Федя Волобуев, хрустя мускулами, сказал:

- Интересно, кто догадался позвонить в общежитие?

- Сказано, со скорой, - напомнил Оптимус.

А догадался доктор Вологдин. Он всегда спрашивает у больного, кому из близких позвонить. Не все *скарачи* так делают.

Дынкин не раздумывал. Кому? Матвейчу, Ивану и в сорок третью. Матери не надо: за реку не всегда дозвонишься, так что и беспокоить, и расстраивать её не к чему.

Трое студентов бежали в морозной ночи. А путь по городу был не ближний.

Старшему из всех Матвейчу, несмотря на тренировки, было бежать тяжелее всех.

К Новому Году схлынули морозы. Однажды Ваня, Лёвик и Матвейч на стоянке такси поймали подъехавшую машину. Они спешили в клинику забирать выписанного после обострения болезни Володю Дынкина. Щепетильного друга с трудом убедили надеть шерстяные носки, принадлежащие Ивану.

Ещё сложнее было заставить Дынкина взять у них денег.

Скоро стипендия, жить станет много легче, и за реку ходить не нужно.

- Руки-ноги хоть у тебя целые? - спросил Георгий Матвейч.

- Кашеваров сам смотрел, сказал, попробует обойтись без удаления омертвевших фрагментов. Мизинец на левой руке всё же оттяпал. Да это ничего, жить можно. И учиться смогу.

Дынкин показал забинтованную руку.

- На фронте врачи много чего умели, - сказал Матвейч. - И обходиться без ампутаций при малейшей возможности. На передке не всегда удавалось такое, там требовалось сохранить жизнь, а остальное отступало на второй план. В госпиталях – да, могли и старались делать берегающие операции. Повезло, что Кашеваров о тебе позаботился.

А Дынкин про себя подумал: я жив и Светлану увижу.

И что он ей скажет? Слова бессильны...

Глава десятая. За Новым годом – Новый год

Опять у Лёвика праздник

- Все большие праздники я отмечаю дома, - рассказывает Тимофей, - дни рождения, Новый год, Первое Мая, Октябрьскую годовщину. В будние дни меня можно встретить где угодно, а в большие праздники только дома, с родными.

Тимофей лучше всех знает, где перед праздниками *выбрасывают* самое ценное из продуктов. Кремень его никогда не ругает, тогда как, скажем, со мной не церемонится. Тимку, по-моему, и вообще никто за его образ жизни не осуждает. Кременю наплевать, а мне интересно. Общаясь с людьми Загорной, я начинал понимать, что к осудительной критике не пригоден, и так, очевидно, будет всегда. Нет во мне этого – воспитывать других, на свой успех в таком деле не могу надеяться, а значит, и браться не надо.

Должно быть, сожалеть и сострадать о беспорядочном людском неустройстве жизнь меня позже научит.

- Ткнул мордой в содеянное – и занает слева под рёбрами, и спать не будешь, - предрекал Каменский. - Слезами умоешься. Платок дать?

Я Кременю плохо верил.

Как бы там ни было, Тимофей Воронов умудряется быть вне критики.

30 декабря ходили втроем – я вместе с Кременем и Тимкой – по магазинам, приобретали напитки. У Тимофея оказался пакет с фотографиями. Заходил к Буткеевым – фотографии хранились у них, если можно вопиющую безалаберность назвать хранением. Константину не до этого, а остальные Буткеевы нисколько не дорожат памятью, запросто и сжечь могут. Теперь все фото соберутся и будут находиться на Загорной.

Остановивались, чтобы рассмотреть кое-какие лица. И, заслушавшись, я, как часто бывало, сожалел, что нет передвижной машинки-автомата, которая сама бы собой записывала и передавала мне истории большой, разбросанной по всему миру сибирской семьи. (Магнитофоны и диктофоны в моих руках не скоро ещё окажутся).

Тимофей неподдельно радовался. Предвкушались восхитительные события.

Подсобралось в доме достаточно денег. Мечта, полуугасшая, как угли в затухающем костре, близка к осуществлению: собрать на Загорной много народу, по образцу нескучных давних дней. Пригласить на вернисаж Котика Буткеева. Тимофей разве играет на рояле? Так, вечная проба пера, не более.

Опытная в музыкальной профессии Марьяша при Буткееве также себя не проявляет, за инструмент в его присутствии, скорей всего, не сядет.

Костя Буткеев внешне похож на композитора Даргомыжского. И Тимофей просит Лёвика сравнить изображения на двух фотографиях. Действительно, не без сходства. Даргомыжский постарше смотрится, так ведь и Буткеев молодым будет не вечно.

- А какого рода вещи играет Буткеев? - спрашиваю у Тимофея.

- Все, - безапелляционно отвечает. - Он чувствует и воспроизводит любую музыку.

Тима говорит о себе:

- Знаете, ребяташки, я не большой поклонник вокальной музыки. Больше люблю симфоническую, особенно вещи для рояля: Шопена, Бетховена, Грига готов слушать не знаю, сколько... А вообще-то я не понимаю, как это люди говорят: «Люблю лёгкую музыку» – а симфоническую, дескать, не любят. Музыка нужно любить всякую. Мне нравятся и фокстроты, и танго, если они хорошие.

В главном гастрономе особенно плотно толпился народ: выбросили дорогое вино, мы потолкались, ухватили сколько успели, а после нас праздничный подарок советской торговли горожанам как раз закончился.

- О винах я могу говорить сколько угодно, - повествовал, просветительствуя, Тимофей. - Есть московская водка, она мягче обыкновенной, её даже пить не особенно приятно, что-то среднее между водкой и ликёром. А «старка»¹⁶ лучше: во-первых, на три градуса крепче, во-вторых, всякие

¹⁶ Старка – водка, настоящая на травах (Прим. автора)

специи тоже смягчат. Ну и выдержана. Из ликёров же так: шартрез обжигает до кончиков пальцев, бенедиктин так же, а вот эти – розовый, мятный, кофейный, шоколадный, лимонный – ерунда. От розового, например, у меня голова начинает болеть пока я ещё пьян. Кюрасао ещё хороший ликёр, действует на ноги... А какой букет у коньяка! Какой ароматический букет! Каждая звёздочка – это роман. А шампанское – у-у-у!.. Сладкое красное, по-моему, по сладости равно белому полусухому. Разумеется, есть оттенки и вкуса, и запаха. Вот ещё: *запеканочку* от *спотыкача* не всякий отличит. А я сумею. Запеканка мягче идёт, как будто смазана маслом, а спотыкач комочком таким, твёрдо, упирается, царапается... А чай! Это эпопея!.. Не говоря уже об одеколонах!

- Ты, Тимка, можешь написать диссертацию на тему «Вино и одеколаны», - комментирует Юрий. - Но нигде не примут к защите.

- Жалко, что не примут.

На Загорной между тем суета в разгаре. Дед уже сбегал на рынок за мясом, купил муки, собрался к Савелью Санычу за рыбкой. Все домочадцы, включая бабушку, на крохотной кухне, мешая друг дружке, заняты готовкой. По большим праздникам они лепят пельмени и пекут фирменный пирог с рыбой. И гость помогает – Костя Буткеев. Он посасывает папироску, отвернув её от продуктов. Костя и Марьяша – с ярко окрашенными губами, с причёской, любовно изготовленной знакомым парикмахером, в переднике, повязанном поверх праздничного платья, – стаканом штампуют кружочки для пельменей. Марьяша сетует на Тимку: ушёл – и нет его, а необходим совет, сколько луку дать в говяжий фарш, а сколько перчика.

Костя же в этом деле ей не советчик.

Но очень скоро Тимку – одного, по крайней мере, – она заполучит.

Потому что у тех троих к самому Новому Году – ни раньше, ни позже – неожиданно всё разохлось. Юрка вдруг сообщил, что у него дежурство.

Тимка остановился как вкопанный:

- Да ты что, с ума сошёл?

- Знаешь, Тимка, ты извини, попросили.

- И ты не мог отказаться?

- Мог, конечно...

- А ты, Лёвик?

- Меня ждёт подруга. Пожалуй, тоже попрошу извинить.

Однако в общежитии на Розочке огорошили:

- Уехала.

- Как так – уехала? Куда – уехала?

- Только не прослезись, Лёвочка! - в голосе Клары нескрываемое злорадство по адресу меня и Лины. - Пустьшку тянешь. У неё мама заболела.

- Надеюсь, ничего страшного?

- Там, на месте, выяснится. Одно скажу: не в первый раз. Можешь со мной провести праздник.

Клара прихорашивается, ждёт гостей. Отправится куда-то подразвлекётся. Красивая... Но что Клара? Лины нет, и это не замена.

- Спасибо, Клара. Как-нибудь в другой раз.

Накануне Оптимус предложил:

- Лёон, пойдёмте в *сейфы*! Мне необходимо на Новый год сделать подарок одной особе.

Заметим: не жене подарок, жена далеко. Есть одна первокурсница, имя такое: Виктория. Для неё - *жесты*.

Сейфы в данном случае – главпочтамт, где его ожидает перевод из дома, и магазины, там покоятся товары, пригодные для подарков.

В походе по магазинам встретили Ивана, тоже неприкаянного.

- Мы здесь постоим, - сказали ребята Оптимусу в универмаге. Он ринулся в толпу – по отделах. Долго, ожидая, стояли у витрин, спинами на железках, что вмонтированы в стены, предавались прострации.

Наконец Иван сказал:

- Нас тоже можно было бы купить. Мы так стоим.

Я говорю:

- Что-то мне перестал нравиться Оптимус.

- Этот белый остолоп?

- Остолоп, я не ослышался?

- Нет, ты правильно понял. Дурак.

Дурак? Нет, на дурака-то Оптимус похож меньше всего. Но эти вечные *жесты*! Денег ему даёшь из гонораров, не жалко, в редакции в свой срок ещё заплатят. Но сегодняшние *жесты* будут оплачены деньгами, полученными от жены. Это некрасиво, не по-товарищески. Умнейший Иван точно подмечает: предательские получают *жесты*. Оптимус любит говорить, что мораль – выдумка старых дев, страдающих несварением желудка. Но я считаю его добрым товарищем. Одно дело слова, другое поступки.

Оптимус ничего не выбрал, и пришлось отправиться с ним в ювелирный. Благо, у нас в центре всё под боком. Там половину прилавка закрыли собою толстый мужчина в дорогом пальто и его жена, тоже не страдающая от худобы. На ней голубое пальто, а коричневый шарф на шею сухощавости ей не придаёт. Интересовались кольцами.

- Вот это, с плавленным рубином, покажите, - муж просит у продавщицы. - Подвинься! - командует жене. Она мешает.

Жена спрашивает:

- Нового из колечек не ожидаете? Эти уж больно страшненькие.

Продавщица пускается в объяснения:

- Вы знаете, это как на чьей руке. Бывает, товар лежит десятки лет, пока не попадается подходящая рука. Вот вчера, например, одна дама купила кольцо с сапфиром. У нее ручка исключительно белая, неработанная. Вы знаете, очень идёт, очень!

В ювелирном Оптимус тоже ничего не смог выбрать. Он так озабочен. Да он ли это?

Какие *жесты* преподнесёт он первокурснице Виктории – и гадать неохота. Мы от него оторвались.

Назавтра веду Ивана на Загорную, слушать игру Константина Буткеева.

Рина после того вечера мне Ивана похваливает: почти ничего не говорил, всего несколько слов, но в жилу.

- Товарищи тебе попадаютя исключительно умные.

- Признаю. Не дураки.

- Вы с ним – гвоздь и гриб.

- Почему, Рина?

- Ты гвоздь, он гриб. Я вас так вижу.

Иван – плотный, широкоплечий гимнаст, голова круглая, стриётся наголо, ходит неторопливо, одет в зеленоватый плащ, на голове шляпа, носит очки. Очкариков и очкарщиц, если разговор заходит, с интересом в подробностях расспрашивает про минусы и плюсы, и сколько у кого диоптрий. Потому что у самого очки подобраны не совсем правильно, и как-то надо идти за новыми.

Я же, контрастно, тощий и, на взгляд Ираиды, видимо, шустрый. Чуб густой, со мной расчёска, носу синий берет и «кожаную» куртку из тёмно-коричневой клеёнки.

Ираида хорошо разбирается в людях.

И острая. На язычок ей лучше попадаться пореже.

А Лина запаниковала

В четверг Лина получила телеграмму от сестры. Всего два слова: «Маме плохо».

- Такая глупая, - отплакавшись, ругала сестру. - Неужели нельзя написать подробнее? Тут сходишь с ума, каждую минуту ждёшь инфаркта или ещё чего-нибудь похуже, а она отделяется телеграммами.

Тася Лодыгина как могла успокаивала:

- У неё, наверное, нет денег. Посылать телеграмму – это дорого. И потом, она же маленькая. Твоего беспокойства не понимает.

Лина плачет. И Тася – от жалости – плачет с ней рядом. Платок один на двоих, не очень удобно, но всё же платочек – вот он.

Подруга спохватывается первой.

- Надо же что-то делать. Первым делом пойти к декану отпрашиваться. Я с тобой.

- Я сама.

- Не бойся, к нему войдёшь без меня. Я просто погуляю в Роще.

Провожает Лину и в страшном волнении расхаживает по вестибюлю. В Рощу ноги не идут.

Декан смотрит из-под очков.

- Есть у вас деньги?

- Есть.

- Быть может, нужны какие-то лекарства, которых там нет?

- Спасибо, Исак Яклич. Я всё достану сама.

- Всё – сама? Смотрите... Когда ваш поезд?

- Я ещё не узнавала. Получила телеграмму – и бегом к вам.

Декан просит секретаршу дозвониться в справочное бюро вокзала. Заносит на листик из блокнота расписание поездов на ближайшие сутки, начиная с текущего часа, передаёт ей.

Один глаз у Исаака Яковлевича нащурен так глубоко, что кажется закрытым. Но все знают, что именно этим глазом он всегда держит на прицеле своего собеседника.

- Если задерживаться будете, напишите мне. А то что же факультетское бюро без вас делать будет? - он грустно улыбается. И у Лины губы тоже готовы расплыться в улыбке.

- Как-нибудь справятся.

Настроение после декана немного улучшилось.

- Полинка, видимо, испугалась очередного приступа у мамы и сразу побежала давать телеграмму. Но ни лишних слов, ни денег, сколько надо, не нашла. А сейчас маме, наверное, лучше.

Обрадовалась и Тася Лодыгина:

- Да лучше ей! Лучше, я чувствую...

Поехали на вокзал за билетом. Прямой поезд будет только следующей ночью. Ехать с пересадками – не тот случай. Никак не сходится. Значит, буду только в субботу утром, - подсчитывает Лина.

В поезде она не смыкает глаз. Думает, что надо бы поесть: Тася надавала ей с собой бутербродов. Разворачивать Тасечкины бутерброды что-то не хочется. Кусок в рот не полезет.

Народ ходит мимо полков, у неё боковая, кругом располагаются на сон, на остановках проводница громко и настойчиво кого-то будит. Заспавшиеся никак не реагируют. Кто хотел покушать в дороге, уже напитались, и тоже залегли на полках. В дальнем конце вагона плачет ребёнок, его пытаются успокоить. Наконец и там стихли.

Странные мысли к ней приходят. Про войну, будь она проклята. Отец же не всегда был такой. Контузия и водка своё дело сделали. Отца ей жалко, и мать жалко, и Кольку тем более – мы все на свободе, а он в темнице. Хлеба теперь вдоволь, Тасечкины бутерброды вроде особого лакомства, но ей кажется, что каждый кусок она должна не сама съесть, а отдать матери. Как бы с ней рассчитаться.

Мать тогда работала на комбинате в кроватном цехе. Смены по 11 часов, а кормить нужно троих детей. Коля в училище, в столовой мог поесть досыта, но он сам хлеб не съедал, а приносил домой сёстрам. Дети варили кашу, укутывали тряпками горшочек, уносили матери. Обычно относил старший – Николай. Вот и почти вся мамина еда за день – крупа, сваренная на воде. Хлеб,

добытый по карточкам, делился на четверых поровну, но мать от своего куска отделяла двум дочкам, а хлеба сама почти не ела.

Ох ты, мамочка, моя бедняжка... Ночью буран, слякоть, морозы, а она надевает свою телогреечку, едва двигается, идёт на работу. Уже тогда сильно болела...

Что с нами сделала эта война...

Бегом с вокзала, площадь пустая, не ждать же автобуса – когда ещё они раскатаются, и то не к самому дому доведут. Пешочком, пешочком... Родной подъезд, четыре ступеньки, входная дверь скрипит по-прежнему (а что ей делается?), потом на пятый этаж. Мне подниматься не составляет труда, а мама уже давно не спускается, не выходит на улицу из-за этой проклятой лестницы. Говорят, где-то есть такая штука – лифт. Только не у нас, до нас когда-нибудь доберутся, возможно. Не сейчас. В подъезде никакого шума. Соседям выбираться из квартир на работу и по другим делам пока не время. Стучать в дверь надо негромко, чтоб никого в подъезде не разбудить, но так, чтобы в своей квартире слышали... Мамочка, мамуля... Сама открывает. Живая! И на ногах. И Полинка у неё за спиной.

Мама опускается на табурет, тяжело вздыхает. Дышит прерывисто, выдох короче вдоха, воздуха не хватает. Одышку-то куда не денешь. Полинка видит, как лицо у Лины меняется, сразу стало скуластым, постарело, серое, как у матери. Они словно две сестры сидят. Какая старше?..

- Проходи, доченька, - мама едва говорит. - Ты зачем приехала? Учёбу бросила. Тебя не заругают? Не стой на пороге. Я посижу – и тоже пройду. Ты ведь кушать хочешь. С дороги...

Новый год у Мельниковых

Перед Новым Годом – странные времена. Погода будто ломается с удивительным непостоянством. Вот, кажется, возникает светлый прогалыш, низкое небо поголубело, но внезапно снова свинцом подёрнется, стемнеет, завьюжит.

Дмитрий Вологдин радостно вдыхал свежей ветерок, шепнул ветру: дуй! Да принеси свежести охапку, свежесть – моя стихия. Он шёл из магазинов к Мельниковым с выполненным поручением: у них не хватило шампанского, забыли вовремя купить шпроты и копчёности. Всё это в *ближнем* гастрономе выбросили к самому празднику, и Людмила Николаевна позвонила: Димочка, пока всё не расхватали, пожалуйста, выручай!

Он полностью загрузился, забил портфель под завязку, и тут увидел, как расставляются прямо на улице корзины с апельсинами. Новинка: великий Китай присылает праздничные подарки! Тотчас образуется бойкая очередь. У продавщицы, как всегда, нет пакетов. Чего делать-то? Он набивает карманы апельсинами, что называется, под завязку. И в таком антураже нажимает кнопку звонка.

- Дмитрий Алексеевич! Дед Мороз настоящий! Другого не ждём.

Поцелуи, улыбки, покупки приняты, апельсины в кухне выгружены на стол, образовалась приличная горка.

Ёлочка с гирляндами и множеством игрушек. Кто-то из мужчин ставит пластинки на радиоле.

Гости всё подходили, компания собиралась. Столы накрывали хозяйка с дочерью и сотрудницы хозяйки по работе. Мужчины докуривали последние папиросы.

- Проветрить!

- Откройте форточки! Дмитрий Алексеевич, как на улице?

- На улице изумительно. Свежо как никогда.

- Так давайте начинать! - призывает Людмила Николаевна. - Рассаживаемся! Опоздывающие пусть на себя пеняют.

- Мама, да все присоединятся, - подаёт голос Светлана.

После первых тостов (в честь академика Мельникова, с понятной, завуалированной, всё равно прозрачной льстивостью) академик удалился с извинениями. Людмила Николаевна отправилась проводить его до кабинета. У него режим, выверенный и отшлифованный годами. Он рано

ложится, потому что ему необходимо подниматься в предутренние часы. И всегда начеку. Телефон на расстоянии вытянутой руки: могут позвонить из Москвы, нередко ночью им там что-то от него бывает нужно, разница во времени никого не волнует, выходные также в расчет не принимаются. Таков (ещё с войны) у академиков регламент рабочего дня. И делать исключение даже на Новый год не считают нужным. Да и что за интерес ему наши молодёжные забавы?

Дирижирование вечеринкой привычно берёт на себя Дмитрий Алексеевич. Он присаживается к роялю, играет туш. В течение вечера наигрывает музыку для танцев. Кроме него есть ещё неплохие аккомпаниаторы танцующим и, на худой конец, патефон. Вальсируют на конкурс. Пара Вологдин-Мельникова вне конкуренции. Они выигрывают приз. Плюшевый медвежонок у ёлочки. Все искренни, ни у кого нет желания делать искусственные комплименты хозяйке и её приятелю. Они действительно в паре отлично смотрятся. И разница в возрасте почти незаметна: у Людмилы Николаевны развито чувство меры по отношению к косметике, которую она из спецраспределителя получает в польском варианте.

Светлана не отпрашивалась никуда к сверстникам, она уже выросла и заслуживает права быть со взрослыми. На дамское танго она приглашает Дмитрия. Мама любезничает с кем-то из мужчин, это профессорá из меда и политеха.

За столом был новый конкурс – на лучшую смешную историю. И опять выиграл Вологдин. Рассказывал бль. Но это же надо заметить и передать так, чтобы всем понравилось. Показывает в лицах встречу прошлого Нового года. Людмила Николаевна, занятая своей самодеятельностью, одну деталь пропустила мимо внимания. И другие, хоть и присутствовали, но восприняли как должное. А Вологдин понял, что находился при рождении анекдота, и наколот событие, как жука на булавку.

Институтский вечер был устроен в гарнизонном Клубе офицеров не в ночь с 31-го на 1-е, а за два дня до того. На сцене стоял длинный стол, накрытый красным сукном, на нём традиционный двухлитровый графин с водой и один гранёный стакан. Провозглашал начало мероприятия руководитель институтского профкома. За столом сидели сам профкомовец, недавно закончивший институт на пределе возраста (так что дяденька довольно взрослый), и парторг факультета, профессор, славившийся аристократизмом – манишка, галстук-бабочка в голубую крапинку (предмет вожелений Оптимиста Саянского), пенсне. Его обычная лекционно отточенная речь с выражениями из девятнадцатого века в тот момент была подменена монотонно произносимыми банальностями.

Где-то после десяти вечера в фойе раздались три звонка с небольшими интервалами. Народ, в предвкушении Зрелища, заполнил ряды, места в пригласительных билетах были заранее обозначены.

Профбосс поднялся со стула и провозгласил:

- Товарищи! Торжественное заседание, посвящённое встрече Нового Года, разрешите считать открытым.

Ему похлопали.

- Слово для доклада предоставляется члену парткома института и секретарю парторганизации факультета, профессору, доктору медицинских наук...

Профессор-доктор-секретарь подошёл к трибуне и минут двадцать по бумаге зачитывал доклад об итогах года в стране (большая часть текста) и в нашем вузе (примерно одна десятая). Хорошо, что не час.

- Читал, отдадим должное, профессионально, запнулся не более четырех раз, - без тени улыбки рассказывал Вологдин. - Дали бы ему выступить с лекцией, мы бы ни разу его на ошибке не поймали.

- Была самодеятельность, немного разрешили потанцевать. Не фокстрот, не уанстеп – ни-ни... А играли падеспань и мазурку, а их не разучивали, поэтому только две пары и вышли на круг. Даже Дед Мороз был почему-то, - изобразил недоумение Дмитрий Алексеевич. - Прогулялся пару раз по залу, исчез, как провалился. Я подозреваю, что нашего профбосса и нарядили в Деда

Мороза. А на Снегурочку наряда у них не хватило. И близко к двенадцати кончили, погасили свет в зале и в фойе. И синклит¹⁷ распустился.

- Вот такой Новый год мы встретили.

Раздались реплики:

- Бюрократия на марше!

- Они же не в Новый год заседали, вот и устроили репетицию.

- Пролог своего рода.

- Выскажу крамольную мысль: своим ли делом у нас профсоюз занимается?

- Профсоюз – школа коммунизма, так нас учат.

Те, кто знали профкомовца – крупноголового, неулыбчивого мужчину, – смеялись, аплодировали мастерскому рассказу. Те, кто не знали описанного персонажа, тоже веселились, но в глубине души считали, что Дмитрий Алексеевич слегка приврал для красного словца, если угодно. В жизни так не бывает.

А ведь в нашей жизни именно так и бывает.

Кто чем хотел, тем и занимался. Кто добавлял в организм алкоголя, иные закусывали. Домработница помаленьку уносила грязную посуду. Света, на добрых началах, ей помогала.

За столом, в свободных позах остались только два директора института. Они в здешней компании по статусу. У них свои дела. Интересно, что фамилии у них схожие: в политехническом директором недавно назначили профессора с марксистской кафедры Корнева, а у нас уже давно директорствует Виталий Петрович Корнеев, хирург. В известных кругах (среди наших гостей) новое назначение встретили не без иронии. Шутили, что будут процветать родственные связи, уж больно непростое совпадение: одна буква определяет новизну фамилии.

Свету дела директорские не слишком волновали: маме при любом развороте событий хуже не сделают, пусть только посмеют!..

Оказывается, директоров давно собираются переименовать в ректоров, как в университетах, но, по слухам, мешают драки между студентами. Правительство медлит якобы из-за этого. А то бы и льготы выросли, и престиж у начальства, и жалованье. Оба считали, что нет дыма без огня. Драки, в самом деле, случаются, информация наверх поступает, естественно. Однако время неопределённое, силой разгонять не рекомендовано. А надо поступать как-то иначе. Но как именно, министерство указывать не собирается.

Корнеев сказал, что у него мужчины все до одного на персональном учёте, и надо выпустить из данного контингента как можно больше народа. На что Корнев сообщил, что специально назначил зама по учёбе, доцента Драгунчика, карателя по натуре, снабдил отдельными полномочиями издавать приказы по укреплению дисциплины. Первое исключение прогульщиков и не сдавших экзамены состоялось – семнадцать бузотёров ушли из вуза только так!.. Подготовлены ещё два приказа – один на двадцать трёх разгильдяев, другой – на восемнадцать. Уберутся от нас, аж ноги сбрыкают!..

Чистка? Да, чистка назрела, и доцент Драгунчик её помогает провести. Когда Авгий засоряет конюшни, приходит Геракл в облике невзрачного Драгунчика, дабы их чистить. Так говорил Заратустра, пошутил наш Корнеев. Есть чем отчитаться перед Москвой. Понятно, что отличники на ристалищах не присутствуют, люди серьёзные, заботящиеся о своём будущем. Шалопаи, проходимцы отсеиваются, спасибо товарищу Драгунчику, чья фамилия скоро прогремит на всю Западную Сибирь, а не исключено, что и за пределами.

Свету задело, что и Гарька Столбиков попал в это число. Что шалопай, никто не спорит, учиться не собирается, но и драться не очень-то способен. Хотя и не прочь за ней прихлестнуть... Пусть хоть до смерти ухлещется, не видать ему Светиново внимания как своих ушей. Столбиков и возрастом не вышел. А ей чем старше, тем лучше. Дмитрий Алексеевич – не мальчишка какой-нибудь вроде Столбикова, уже на первых шагах в политехе попавшего в карательный список доцента Драгунчика...

¹⁷ Синклит - собрание высших сановников в Древней Греции. (Прим. автора)

Точно по часам, при переходе от двенадцати к нулю, под тосты допили шампанское, напоздравлялись, многие были на взводе, расчувствованно объяснялись в любви, шептались, незлобно сплетничали, где-то в углах большой квартиры, за глазами у остальных, обменивались поцелуями. Кому совсем не терпелось, прощались и уходили. Оба ректора с жёнами отчалили в числе первых. Людмила Николаевна и Света провожали в прихожей. Дмитрий Алексеевич за роялем сыграл прощальный туш.

После чего в нише гостиной, при полупогашенных лампах, за тенистым, низкорослым кедром, растущим из голубого ящика, на двух пуфиках присели Людмила Николаевна и Дмитрий Алексеевич. Светлана в смежной комнате невольно остановилась за дверями, закрытыми на створках, старалась не шевелиться, подслушала их разговор, куда более для неё важный, чем директорский.

- Ты правда не намерен жениться? У тебя столько поклонниц.

- Боюсь, я пропустил своё время. Исполнилось тридцать семь.

- Мужчине никогда не поздно завести семью. Единственное что – пусть твоя пассия будет не слишком юной. Соблазн выбрать студентку достаточно сильный. Кажется, девушка доступна, влюбится... А разница в возрасте и положении когда-нибудь обязательно скажется. Я не права?

- Видимо, твои советы, милая, мне передаются по негласной связи. Абсолютное тождество взглядов. Свободный человек имеет более широкий круг деятельности. Холостое положение обязывает значительно меньше, чем семейное. Вот я и кручусь, пока силы есть.

- Ты мне таким и нравишься. Мне сорок семь, с женщинами в этом возрасте сам понимаешь, что происходит... или может произойти... И у меня был порыв, романтика. Я тоже хотела жить полно, так же, как живёшь ты. Но получилось иначе. Судьба. Надо как-то устраиваться... От тебя ничего не скрываю: мой брак мезальянс...

- Не типичный!..

- Не надо. Не ерунди!.. Типичней не бывает.

- Но ты верная жена. За незначительными исключениями...

- Об исключениях умолчим, верней будет... Академик на тридцать лет старше меня. Я уже родила и воспитывала троих детей, когда он выбрал меня в лечащие врачи. И ровно через неделю сделал предложение. Моё прошлое его не смутило тогда, не смущает и теперь. О наших с тобой делах он не догадывается или делает вид, что не в курсе. Но, занятый безмерно, он не реагирует, а со сплетнями к нему не суются, сплетников он игнорирует из принципа. По-настоящему крупная фигура. Человек старой закалки, мы с тобой уже не такие... Стремилась обзавестись своим домом, жить обеспеченно и сыто. Дважды вдова, стараюсь не овдоветь в третий раз. На моё счастье, у Мельникова здоровая наследственность, он будет жить долго, возможно, переживёт меня. Я себя ни в чём не упрекну, я ему полностью обеспечиваю комфортные условия. При возрастных недомоганиях вовремя отслеживаю изменения в его состоянии, показываю кому нужно из профессоров. Ты мне скрашиваешь жизнь, и я не намерена от тебя отказываться. Только не прошу одного – настоящей, всамделишной измены. Не мимолётного флирта какого-нибудь, ты понимаешь...

- Если я стану тебе помехой, только свистни – испарюсь, как меня и не бывало. Жаль будет того, что мы наработали с самостоятельностью, столько талантов... Твои 47 и мои 37 – сопрягаются отлично. Песенку мне напели, юмористический такой куплетик:

Спутались дорожки,

И сошлись тропинки:

Твои босоножки,

Мои полуботинки.

Неплохо?

- Хорошо, мой милёнок, что хорошо кончается. Мне без тебя было бы тяжело. Не сомневайся: если я сочту, что наша связь вредит моей семье, то даже и свистеть не буду. Только мигну. А ты у меня достаточно умён и вышколен, чтобы оставить притязания на то, что тебе не принадлежит. Так, мой милёнок?

- Так, моя герцогиня!

- Светка на тебя смотрит, глаз не отводит. Я ей говорю: закрой рот, лягушку проглотишь.
- Она маленькая. Ребёнок, дофина.
- Не забывай, чей ребёнок. Академический ребёнок. Значит, умная, и способна своего добиваться.

- До статуса герцогини ей добираться ещё очень долго...
- Дофина тоже может быть привлекательной. Молодостью, свежестью...
- Выбрось из головы. Я не принц, она не Золушка.
- Не бойся, я не ревнивая. Тем более к собственной дочери.
- За нас двоих будь спокойна. Я сумею ей всё объяснить, в случае чего мозги на место поставлю.

- Однако не пора ли посмотреть, не заскучали ли там наши гости?

Помогая ей подняться, он галантно поцеловал матери руку. Больше Светлана ничего не слышала. Она поспешила удалиться из комнаты, убежала в кухню, и, пока помогала домработнице с мытьём посуды, постаралась скрыть от неё краску, выступившую на лице. Старушка ничего не заметила.

Нельзя сказать, что Светлане было приятно пережить услышанное.

Вечером первого января Светлана гуляла с Вологдиным. О вчерашнем подслушанном разговоре, естественно, ни слова. Природа раскачивалась к большим снегопадам. Закручивались хвосты метели, заборы поскрипывали, возле домов и посреди тротуаров росли сугробы. Он провожал её, она его, не хотели расставаться. Наконец время пришло и этому. Светлана дала ему руку в кожаной перчатке и едва заметно потянула его к себе, губы приблизились к его устам. Но снова начались какие-то шуточки, рассказы. Трёп. И, будто шутя, зовёт ребёнком. Мама между нами...

- Хватит гулять. Ухожу, Дмитрий Алексеевич. С вами хорошо. Но сессия на носу, и ждать не будет.

- Сессия, ребёнок, – то чудовище, что, подобно медведице, защищающей своего медвежонка, больно кусается. Того и гляди, двинет лапой по черепу – и жив не останешься.

- А как уберечься-то? И с вами лишний раз потолковать охота, пока вы свободны от ваших вечных дежурств и бесконечных концертов. И опять же, экзамены на носу.

- Зубрёжка, ребёнок, – надёжный щит. А я всегда на посту возле твоей замечательной мамы.

- Угу, возле мамы. Так я ухожу?

- Адё, ребёнок.

И первым отнял руку.

Новогодний бас

Из однокашников директора института Виталия Петровича Корнеева на сегодняшний Новый год остаются в живых и здесь, в городе, пожалуй, только профессор Хрещеватов и чета Засмольевых. Отмечать второй день нынешнего праздника собираются у Засмольевых. Массовых сборищ избегают, а налицо только самое высшее общество – профессор Хрещеватов, а с недавних пор и его племянник (кажется, двоюродный) Ожерельев, не так давно присланный из Москвы для налаживания карьеры (что легче получается в провинции) и уже избранный в комитет комсомола. Также проректоры по науке и по учебе, ещё кое-кто из особо доверенных лиц. Кашеваров, парторг, не приглашается, отношения с ним официальные, он, как хирург, держит лишь доцентуру, а в партийные вожаки избран совсем недавно, надо, чтобы удержался на посту и подрос немного, тогда посмотрим. Быть может, и позовём в следующий раз.

Профессор Засмольев известен необычностью своих устремлений. Собирает коллекции китайских безделушек и японской посуды, использует всякие поводы к пополнению набора недешёвых оперных клавиров и патефонных пластинок с записями спектаклей лучших театров СССР и мира.

Платон Елистратович обладает басом редкой красоты и силы. Поэтому в устройстве праздников у себя дома высокопоставленные семейства по давней договорённости чередуются, но без этой четы никто не обходится.

Вот он поёт под аккомпанемент супруги. В его исполнении исключительно классический репертуар, рассчитанный на обладателя басового голосового регистра: «Песнь варяжского гостя», «Как во городе было, во Казани», неизменная для баса шаляпинская «Блоха»... Compliments повторяются из праздника в праздник, но не надоедают. Потому что истинная правда: да, мол, Платон Елистратович не хуже Фёдора Иваныча!.. И действительно, хотя Шаляпина вживую, конечно, никто не видел, не слушал, сравнение не совсем беспочвенно.

Можно и пластинки поставить. С Шаляпиным. Тоже непрменный атрибут сего дома.

Давая мужу передохнуть, хозяйка играет соло.

Засмольев, умеряя бас, шепчет близким к нему профессору Хрещеватову и его племяннику. Есть чем прихвастнуть:

- Недавно, представляете, приобрёл ноты. Коллекционный набор. Полный Иоганн-Себастьян Бах, германское издание, очевидно, вывезенное из альма-матер в качестве трофея и залежавшееся у кого-то из местных антикваров.

- Очень дорого? - интересуется старший Ожерельев.

- Пришлось поторговаться. Но у продавцов желание скорее получить деньги. Так что цену спросили не совсем разорительную.

- Быть может, у продавцов есть ещё что-нибудь вкусенькое? Из книг. Можно ли до них добраться? Мы бы приобрели для семейной библиотеки.

- Продавцы, судя по их худобе, явно недоедают. Сначала приходил один, по-моему, наш студент, мелькал у меня на лекциях. Что-то мямлил. Спрашиваю в лоб: украл? Отнекивается. Но вижу – краснеет. Глаза слезятся. Успокоил, что, мол, не донесу. Но сказал ему: опасаясь, что хозяин найдётся и потребует ноты обратно. Говорит: не объявится, потому что мы их купили. «Кто – мы?», спрашиваю. В следующий раз он приводит товарища, тот впечатление вора тоже не производит, но по всему видно, что он главнее.

Поликарп настораживается, просит описать приметы спекулянтов.

- У *нашего*, назовём его так, студента внешность запоминающаяся: нос породистый, с горбинкой, шевелюра торчком, глаза коричневые, яркие.

- А второй чем-то запоминается тоже?

- Лицо квадратное, красное. Скорее всего, парень сильно пьющий.

- Как зовут, не спрашивали?

- Я так был обрадован, что не посчитал нужным справиться ни о фамилиях, ни об именах, ни о том, кто они вообще такие. Сказали, что студенты, показалось достаточным. Думаете, проходимцы?

- Мне кажется, я знаю, кто такие эти спекулянты, - второй раз Поликарп повторяет: *спекулянты*.

Засмольев ухмыляется: зачем имена или фамилии? Достаточно взглянуть на лица. В смешке его прорывается басовая нотка. Пианистка поворачивает лицо в сторону мужа, недовольство имеет причину: отвлекается от её игры.

Так – неслышно для Каменского – прозвучал его первый звонок.